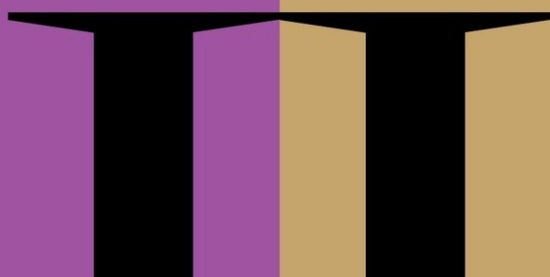


ЕЖИ
ЩАЦКИЙ
ИСТОРИЯ
СОЦИОЛО-
ГИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ

Т О М



Интеллектуальная история

Ежи Шацкий

**История социологической
мысли. Том 2**

«НЛО»

2006

УДК 316(091)
ББК 60.51

Шацкий Е.

История социологической мысли. Том 2 / Е. Шацкий — «НЛО»,
2006 — (Интеллектуальная история)

ISBN 978-5-4448-1052-1

Книга выдающегося польского ученого, одного из ведущих представителей Варшавской школы истории идей Ежи Шацкого (1929–2016) представляет собой фундаментальный систематический курс истории социологической мысли от Античности до современности. Книга будет полезна студентам, а также всем интересующимся интеллектуальной историей.

УДК 316(091)
ББК 60.51

ISBN 978-5-4448-1052-1

© Шацкий Е., 2006
© НЛО, 2006

Содержание

Раздел 14	6
1. Причины взаимной изоляции марксизма и социологии	7
2. Так называемый марксизм II Интернационала	9
3. Позитивный пример марксистской социологии: Кшивицкий	13
4. Революционный марксизм первой четверти XX века	16
5. О так называемом «западном марксизме»	28
6. Социология Мангейма	42
Заключительные замечания	46
Раздел 15	47
1. Прагматизм и социальная мысль	49
2. Психология Джеймса	51
3. Дьюи как создатель социального прагматизма	53
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Ежи Шацкий

История социологической мысли. Том 2

Редакторы серии
И. Калинин, Т. Вайзер

Перевод с польского; общая редакция А. Васильева

Издание осуществлено при поддержке Польского культурного центра в Москве,
www.kulturapolshi.ru и Программы поддержки переводов © POLAND



Jerzy Szacki

Historia myśli socjologicznej

Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2006

Опубликовано по соглашению с Polish Scientific Publishers PWN

© Е. Барзова, А. Васильев, Н. Вертячих, Г. Мурадян, А. Уразбекова, В. Федорова, О.

Чехова, перевод с польского, 2018

© ООО «Новое литературное обозрение», 2018

* * *

Раздел 14

Исторический материализм после Маркса и социология

Исторический материализм (см. раздел 7) родился из рефлексии о той же самой ситуации западноевропейских обществ, которая находилась в центре внимания создателей социологии, но ничем не был им обязан и развивался независимо от них. Эта независимость заходила так далеко, что ни одна из сторон не ощущала даже потребности полемизировать с другой. Марксизм был критикой политической экономии, но не социологии, которую попросту игнорировал. Марксизм и социология изначально двигались по орбитам, которые почти никогда не пересекались. Даже занимая определенную позицию по отношению к социализму или коммунизму, социологи XIX века часто имели в виду иные, чем марксизм, направления социальной мысли. Эти направления интересовали их, впрочем, больше как симптомы социальных болезней и все более влиятельные идеологии, чем как социальные теории, которые могли бы иметь какую-то познавательную ценность.

Только поколение Дюркгейма, Парето, Тённиса, Зиммеля и Макса Вебера открыло Маркса как партнера научной дискуссии, которого социологу не следует игнорировать. Самую большую с этой точки зрения роль сыграли, без сомнения, социологи, о которых шла речь в предыдущем разделе, хотя их отношение к Марксу было критическим. Марксисты, в свою очередь, проявляли довольно незначительный интерес к достижениям социологов. Их не знали как следует ни Маркс, ни Энгельс, ни их наследники, хотя в конце XIX века уже можно найти марксистов, которые (как, например, Людвик Кшивицкий) считали себя работающими в области социологии. Этот раскол между историческим материализмом и социологией заслуживает особого внимания, поскольку облегчает понимание как марксизма, так и социологии.

1. Причины взаимной изоляции марксизма и социологии

На первый взгляд этот раскол кажется трудным для понимания, так как точки соприкосновения исторического материализма и ранней социологии были весьма многочисленны. В обоих случаях речь шла о попытке научного объяснения одного и того же общества, а также преодоления того же самого волюнтаризма в размышлениях о социальных явлениях. Как исторический материализм, так и социология должны были также стать инструментами социальной реконструкции большого масштаба и оставались в оппозиции к официальной науке, создавая своего рода научную контркультуру, лишенную в течение долгих лет доступа в университеты и на страницы уважаемых журналов. Следует также добавить, что и у исторического материализма, и у социологии были некоторые общие родоначальники (прежде всего Сен-Симон).

Все эти сходства не составляли, однако, и не могли составлять достаточной основы для сближения по нескольким причинам.

Во-первых, современная Марксу социология была определенно «буржуазной» в том смысле, что ее представители были едины в своих высказываниях в поддержку лишь реформы критикуемой ими капиталистической системы, революционного свержения которой добивались Маркс и его сторонники. Во-вторых, социология шла по пути формирования независимой «позитивной» и при этом, несмотря на изначальную широту своего предмета, максимально специализированной науки, в то время как Маркс и марксисты стремились к полной перестройке социального знания вместе с его философскими основами, будучи сторонниками интегральной науки об обществе иного диапазона и характера, чем дисциплина, задуманная Контом. В-третьих, марксизм был доктриной активности и участия, доктриной программно «партийной», в то время как социология, особенно в своей позитивистской части, была сориентирована на внешнее и объективное наблюдение социальных процессов, которое, правда, может и должно приводить к практическим выводам, но само не должно быть частью социальной *praxis*¹. В-четвертых, марксизм был в своей начальной форме прямым продолжением немецкой социальной философии, особенно гегельянства, социология же имела позитивистские корни и отсылала скорее к естествознанию, чем к философии. Различий было, конечно, еще больше, а среди них и то, что марксисты и социологи обращались обычно к совершенно разным аудиториям, что уменьшало возможность и потребность не только соглашения между ними, но и конфронтации.

Конфронтация была, однако, неизбежна по мере того, как марксизм превращался благодаря II Интернационалу (1889–1914) в доктрину мощного массового движения, постепенно приспособляющегося действовать в рамках определенных социально-политических структур и стремящегося обеспечить себе гегемонию, социология же меняла свой характер в результате критики позитивизма и расширения сферы своего влияния на Германию. До конфронтации дело дошло впервые в последнюю четверть века перед Первой мировой войной. С тех пор тема «социология и марксизм» не сходила с повестки дня². Ранее мы вели здесь речь о реакциях на марксизм со стороны некоторых выдающихся социологов; сейчас время заняться гораздо более многочисленными реакциями марксистов на социологию. Они были очень разными: с одной стороны, появились авторы, склонные утверждать, что исторический материализм – это не что иное, как *марксистская социология*, с другой стороны, достаточно было

¹ Практика (*греч.*). Здесь – единство мысли и действия. – *Примеч. пер.*

² См.: Hughes H. S. *Consciousness and Society. The Reorientation of European Social Thought 1890–1930*. New York, 1961. Part 3; Bottomore T. B. Introduction // Marx K. *Selected Writings in Sociology and Social Philosophy* / Ed. by T. B. Bottomore, M. Rubel. London, 1961; *Idem*. *Marxist Sociology*. London, 1975.

и таких, по мнению которых оппозиция марксизма и социологии непреодолима и такой остается.

Перевес был, как представляется, на стороне вторых. Более того, признание исторического материализма социологией было нередко чисто вербальной операцией, которая не означала реального сближения. Серьезных попыток подытожить с марксистской позиции достижения социологии и тем более использовать их для собственных теоретических целей не предпринималось. То, что в Польше пытались сделать Кшивицкий или Келлес-Крауз, имело немного прецедентов и аналогов. Преобладала установка на отражение атак, защиту целостности собственной позиции, а также утверждение, что она безоговорочно верна³. Тем не менее проблема возможности существования марксистской социологии была наконец четко поставлена. Ее представление требует, однако, учета более широкого контекста изменений, которым подвергался марксизм после смерти своих создателей.

³ Это касается даже такого «открытого», впрочем, теоретика, как Карл Каутский, что видно на примере его отношения к Макс Веберу. См.: *Salvadori M. L. Kautsky and Weber. Common Problems and Different Approaches // Karl Kautsky and the Social Science of Classical Marxism / Ed. by J. H. Kautsky. Leiden; New York, 1989. P. 91–108.*

2. Так называемый марксизм II Интернационала

Фактом, который следует иметь в виду, является формирование так называемого «марксизма II Интернационала», который вплоть до времени появления ленинизма задавал тон всей марксистской мысли. Этот марксизм часто называют «позитивистским», а Валицкий (Walicki) использовал недавно прилагательное «несессеристский», удачно подчеркивающее значительную роль, которую играло в нем понятие «необходимости»⁴.

К этому направлению причисляют прежде всего таких авторов, как Эдуард Бернштейн (Eduard Bernstein) (1850–1932) – автор, среди прочего, *Zur Geschichte und Theorie des Sozialismus. Gesammelte Abhandlungen*⁵ (1901); Карл Каутский (Karl Kautsky) (1854–1938) – автор *Die materialistische Geschichtsauffassung*⁶ (1927, в 2 т.), а также множества других политических, исторических и экономических сочинений, на которых выросло целое поколение марксистов; «отец русского марксизма» Георгий Плеханов (1856–1918) – автор, среди прочего, работы «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» (1895); Генрих Кунow (Heinrich Cunow) (1862–1936) – автор *Die Marxsche Geschichts-, Gesellschafts- und Staatstheorie. Grundzüge der Marxschen Soziologie*⁷ (1920–1921, в 2 т.).

С большими оговорками к этой формации можно отнести также так называемых австромарксистов, среди которых оказались в том числе такие мыслители и политики, как Макс Адлер (Max Adler) (1873–1937) – автор *Kausalität und Teleologie im Streite um die Wissenschaft*⁸ (1904), *Marxistische Probleme. Beiträge zur Theorie der materialistischen Geschichtsauffassung und Dialektik*⁹ (1913) и *Lehrbuch der materialistischen Geschichtsauffassung (Soziologie des Marxismus)*¹⁰ (1930–1932, 2 т.); Рудольф Гильфердинг (Rudolf Hilferding) (1877–1941) – автор *Das Finanzkapital. Eine Studie über die jüngste Entwicklung des Kapitalismus*¹¹, (1910); Отто Бауэр (Otto Bauer) (1881–1938), известный как интереснейший среди марксистских теоретиков национального вопроса, автор *Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie*¹² (1907).

Мы намеренно объединили в этом – далеко, впрочем, не полном – списке таких разных и даже спорящих друг с другом мыслителей, как «ортодокс» Каутский и «ревизионист» Бернштейн, «материалист» Плеханов и «неокантианец» Адлер, поскольку представляется, что, несмотря на все различия, мы в их случае имеем дело с общим теоретическим кругозором, обозначенным стремлением придать историческому материализму статус науки в позитивистском смысле этого слова и тем самым разорвать его изначальную связь с философией. Иную тенденцию представлял, например, выдающийся итальянский марксист Антонио Лабриола (Antonio Labriola) (1843–1904), влияние которого за пределами Италии, однако, было небольшим. В общем и целом, марксизм отдалялся от гегелевских истоков, приближаясь к образу мышления позитивистской социологии. Хотя не все его сторонники пошли в этом направлении так далеко, как итальянский теоретик Энрико Ферри (Enrico Ferri), который в книге *Socialismo e scienza positive (Darwin, Spencer. Marx)*¹³ (1894) рассматривал марксов социализм просто как

⁴ См.: Walicki A. Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii / Tłum. A. Walicki. Warszawa, 1996. Cz. 3.

⁵ «Очерки по истории и теории социализма. Сборник статей» (нем.). – Примеч. пер.

⁶ «Материалистическое понимание истории» (нем.). – Примеч. пер.

⁷ «Марксова теория исторического процесса, общества и государства» (нем.). – Примеч. пер.

⁸ «Казуальность и телеология в спорах о науке» (нем.). – Примеч. пер.

⁹ «Проблемы марксизма: к вопросу о теории материалистического понимания истории и диалектики» (нем.). – Примеч. пер.

¹⁰ «Учебник материалистического понимания истории. Социология марксизма» (нем.). – Примеч. пер.

¹¹ «Финансовый капитал. Исследование новейшей фазы в развитии капитализма» (нем.). – Примеч. пер.

¹² «Национальный вопрос и социал-демократия» (нем.). – Примеч. пер.

¹³ «Социализм и позитивная наука: Дарвин, Спенсер, Маркс» (ит.). – Примеч. пер.

применение принципов позитивной науки к социальным вопросам, сама постановка проблемы перестала быть чем-то необычным.

Марксизм как «разновидность позитивизма»

Популярные толкования марксизма, число которых на стыке веков росло, не только использовали во все большей степени материалы, собранные эволюционистской социологией и социальной антропологией, но и давали ответы прежде всего на поставленные этими дисциплинами вопросы о законах социального развития. Гегелевская диалектика все чаще рассматривалась как второстепенный «пережиток» в границах марксовой теории, которая оказывалась все ближе скорее к дарвинизму, чем к гегельянству. Связь с дарвинизмом больше всего подчеркивал Каутский, который как теоретик материалистического понимания истории принял осознанное усилие по «строительству моста между биологией и социологией, который Маркс и Энгельс построить не могли»¹⁴. С этой точки зрения «история человечества представляется лишь частным случаем в истории органической жизни, со специфическими законами, которые, однако, находятся в связи с общими законами живой природы»¹⁵. Правда, этот взгляд не входил в противоречие с духом некоторых сочинений Маркса, а особенно Энгельса, но он означал принятие одной из возможных интерпретаций их теории, которая вовсе не обязательно казалась очевидной, сводя диалектику исторического процесса к взаимодействию организма и среды.

Проблема, впрочем, заключалась не столько в приближении теории общества к биологии, сколько в появлении тенденции к отождествлению марксизма с тем взглядом, что общество так же, как и природа, подчиняется в своем развитии непреложным законам. Как пишет Герберт Маркузе, марксисты II Интернационала «критическую теорию Маркса проверяли нормами позитивистской социологии и превращали эту теорию в естественную науку... господствующие условия общества гипостазировались и человеческая практика подчинялась их власти»¹⁶. Конечно, речь шла прежде всего о господствующих экономических условиях, которые должны были привести к неизбежному краху капитализма. Антонио Грамши (Antonio Gramsci), который выступит, как мы увидим, с радикальной критикой такого образа мыслей, будет настаивать на том, что он являлся следствием массового распространения марксизма, требующего его адаптации к народной ментальности, проникнутой религиозным фатализмом¹⁷.

Сфера фактов и сфера ценностей

Одним из результатов этой «сциентизации» марксизма было возведение неизвестного Марксу барьера между наукой и идеалом, чистым познанием и любыми групповыми интересами. Наука одна для всех, поскольку, как писал Эдуард Бернштейн, «ни один „изм“ не является наукой»¹⁸. Похожим образом размышлял и главный критик «ревизионизма» Бернштейна Карл Каутский, по мнению которого социал-демократия хотя и не может обойтись в классовой борьбе без нравственного идеала, но «этому идеалу совсем нечего делать в научном социа-

¹⁴ *Kautsky K. Nature and Society // Karl Kautsky and the Social Science. P. 75.*

¹⁵ *Каутский К. Материалистическое понимание истории. Т. 2: Государство и развитие человечества / Пер. с нем. Е. А. Преображенского. М.: Л.: Государственное социально-экономическое издательство, 1931. С. 630.*

¹⁶ *Маркузе Г. Разум и революция. Гегель и становление социальной теории / Пер. с англ. А. П. Шурбелев. СПб.: Владимир Даль, 2000. С. 502.*

¹⁷ *Грамши А. Искусство и политика. Т. 1. М.: «Искусство», 1991. С. 86–87.*

¹⁸ *Бернштейн Э. Возможен ли научный социализм? // Свободная мысль. 1992. № 16. С. 105.*

лизме, научном исследовании законов развития и движения общественного организма... идеал становится в науке источником ошибок, если берется указывать ей цели»¹⁹. Так же однозначно высказался на эту тему Рудольф Гильфердинг, утверждая, что «марксизм представляет собой просто теорию законов движения общества»²⁰. Такого рода взгляды имел, видимо, в виду Карл Корш, обвиняя в 1921 году мыслителей II Интернационала в том, что в их понимании марксизм «превращается в нечто такое, что правильнее всего следовало бы назвать общей систематической социологией»²¹. Статус исторического материализма здесь действительно претерпел поразительные изменения.

Представляется, что этот способ интерпретации марксизма открыл путь к рецепции неокантианства некоторыми его сторонниками, так как это был в тот момент наиболее перспективный путь к упрочению нравственного идеала, который не имел, как мы видим, опоры в позитивистской трактовке марксизма как «социологии». По сути, этот поворот в сторону неокантианства, который безуспешно пытались предотвратить «ортодоксы», был не чем иным, как следствием превращения ими исторического материализма в «позитивную» науку. Раз было признано, что нравственный идеал социализма невозможно вывести из утверждений о фактах, естественными представлялись поиски другого пути его легитимации, а такой путь предлагало неокантианство в популяризированной *Карлом Форлендером* (*Karl Vorländer*) (1860–1928) среди социал-демократов версии.

Принимая разграничение сферы фактов и сферы ценностей, неокантианцы в марксистском лагере подчеркивали важность последней, протестуя против заключения человека в замкнутый круг естественно-научной необходимости. Социализм возможно обосновать потому, что человек является не только частью природы; он свободное существо, которое осознанно выбирает цели своего действия, руководствуясь при этом собственной совестью, а не внешней по отношению к себе материальной необходимостью. С этой точки зрения важной проблемой была проблема отношений между причинностью и целесообразностью в социальной жизни – проблема, рассмотрение которой могло, вероятно, привести к перестройке всей марксистской теории общества и истории. Этого, однако, не случилось. Марксистская мысль подверглась скорее расщеплению на природный детерминизм, ликвидирующий, по сути, «активную сторону» философии Маркса, и волюнтаризм разного типа, склонный умалять значение объективных факторов.

Дилемма, которая проявилась таким образом, будет иметь, как мы увидим, как практическое, так и теоретическое значение. Любопытно, однако, что ее появление в марксистской мысли не было сопряжено поначалу почти ни с какими проявлениями серьезного интереса к дискуссии о характере социальных наук, которая разгорелась в конце XIX века в Германии, хотя ее содержание не было марксистам абсолютно неизвестно. Ни один из них, за исключением Макса Адлера²², не затрагивал, по сути, центральных проблем этой дискуссии. Это делают лишь мыслители, взбунтовавшиеся против марксизма II Интернационала, и в первую очередь Дьёрдь Лукач. Правда, сначала он был участником этой дискуссии, а марксистом стал позже.

¹⁹ *Каутский К.* Этика и материалистическое понимание истории. Опыт исследования / Пер. с нем. К. Когана и Б. Яковенко. 2-е изд., стер. М.: Едиториал УРСС, 2003. С. 130–131.

²⁰ *Гильфердинг Р.* Финансовый капитал. Исследование новейшей фазы в развитии капитализма / Пер. с нем. И. И. Степанова-Скворцова. М.: Издательство социально-экономической литературы, 1959. С. 44.

²¹ *Korsch K.* Marxism and Philosophy. London, 1970. P. 62.

²² См., например: *Rudziński R.* Ideał moralny a proces dziejowy w marksizmie i neokatyzmie. Warszawa, 1975. Rozdz. 5.

* * *

Период, о котором идет речь, был периодом развития марксизма вширь, а не вглубь. Несравнимо больше усилий было вложено в его популяризацию, чем в проработку тех его фрагментов, которые в этом нуждались. Марксизм, однако, подвергся в этот период существенным изменениям, которым, впрочем, способствовали как «ортодоксы», так и «ревизионисты». С точки зрения историка социологии, одно из важнейших изменений заключалось в превращении его в одну из тогдашних «социологических школ», которая во многих отношениях, правда, отличалась от остальных, но в основе своей имела такую же концепцию научности.

Без сомнения, это повлияло на дальнейшую историю взаимоотношений марксизма и социологии. С одной стороны, он стал более или менее признанной социологической теорией, вызывающей по тем или иным причинам все более живой интерес среди социологов других направлений. С другой же стороны, марксизм как одну из множества теорий социального развития, которые как раз вступали в фазу заката, могла ожидать такая же судьба или же существование в качестве символа веры одной партии, с постепенной потерей статуса научной теории. Иначе говоря, идя навстречу социологии, марксизм одновременно с ней разминаясь, поскольку не отвечал на новые вызовы, которые в ней появлялись, так как был занят уже в основном или политикой, или внутренними вопросами собственной теории. В результате очень немногим марксистам удалось оставить в социологии заметный след. Не оставил его и марксизм как «социологическая школа», хотя важную роль, без сомнения, в социологии сыграли Маркс и некоторые другие марксисты, идеи которых являлись источником вдохновения в тех или иных отдельных вопросах. Однако мы не можем этого сказать о большинстве авторов из круга II Интернационала.

Это не означает, что их наследием можно полностью пренебречь. Если опустить упомянутые популяризаторские достижения, то внимания заслуживают по крайней мере три вещи. Во-первых, именно марксизм II Интернационала создал эту школьную версию исторического материализма, которую потом бесконечно повторяли в рамках марксизма-ленинизма, хотя ее создатели давно были признаны «ренегатами» и лишены места в коммунистическом Пантеоне. «Теория исторического материализма. Популярный учебник марксистской социологии» (1921), написанная большевиком Николаем Бухариным (1888–1938) и являвшаяся предметом критики Лукача, Корша и Грамши, так же как и многочисленные высказывания Ленина, имели своим источником этот марксизм. Во-вторых, это прежде всего марксизм II Интернационала стал системой соотнесения для чуть ли не всех социологов, которые, как Макс Вебер, занимались «позитивной критикой исторического материализма». В-третьих, в кругу этого марксизма можно выделить некоторое число авторов, которых как ученых ни в коем случае нельзя игнорировать. Одному из них мы посвящаем ниже отдельный параграф.

3. Позитивный пример марксистской социологии: Кшивицкий

Людвик Кшивицкий (*Ludwik Krzywicki*) (1859–1941), который сыграл чрезвычайно большую роль в истории польской социологии, был не только популяризатором и систематизатором исторического материализма, но и, даже в первую очередь, ученым, пытающимся использовать его в социологических, экономических, демографических, антропологических, исторических и т. п. исследованиях. Можно сказать, что его интересовал не столько марксизм как таковой, сколько возможность его применения в социальных науках. Кшивицкий был скорее исследователем, чем идеологом, что, впрочем, стало в период сталинизма поводом сомневаться в его приверженности марксизму. Как справедливо заметил Тадеуш Ковалик, «Кшивицкий формулировал принципы исторического материализма так, чтобы их было возможно верифицировать»²³. Огромные и всесторонние знания позволили ему избежать ловушек дилетантизма, в которые не раз попадали Каутский или Плеханов, действительно постоянно обращавшиеся к науке, но сами ею профессионально не занимавшиеся. Прекрасное знание тогдашнего состояния социальных наук давало ему возможность их «позитивной критики» с марксистской позиции. Это были, конечно, прежде всего позитивистские социальные науки, поэтому теоретический кругозор Кшивицкого не отличался принципиально от кругозора вышеупомянутых мыслителей II Интернационала.

В своих многочисленных работах, из которых следует назвать в первую очередь *Ludy. Zarys antropologii etnicznej*²⁴ (1893), *Rasy fizyczne*²⁵ (1897), *Rasy psychiczne*²⁶ (1902), *Rzeczony społeczny wśród zwierząt i u rodzaju ludzkiego*²⁷ (1913), *Ustroje społeczno-gospodarcze w okresie dzikości i barbarzyństwa*²⁸ (1914), *Studia socjologiczne*²⁹ (1923), а также *Primitive Society and Its Vital Statistics*³⁰ (1934), он занимался прежде всего вопросами общественного развития. Он вырос на эволюционизме (так же как и другие марксисты, он особенно высоко ценил работы Моргана) и до конца жизни оставался верен типичной для этого направления проблематике и характерным для него методам, хотя мог занять критическую позицию по отношению к тем классическим решениям, которые считал противоречащими результатам новейших исследований. Так, например, рассматривая дикость и варварство, он утверждал, что «здесь действует не единая схема, а многообразие форм и путей развития»³¹. Он также активно выступал против органицизма и биологизма, усматривая в них инструменты социальной апологетики.

Отмечая сходство между животными и человеческими обществами, Кшивицкий вместе с тем подчеркивал особенности последних, находя при этом опору в концепциях Маркса, решительным, но оригинальным выразителем которых он был. Принимая марксову концепцию общества и социального развития, он старался, как и в случае своего отношения к эволюционизму, избегать оперирования единой схемой, а также четко определять пространственно-временные ограничения высказываемых утверждений³².

²³ Kowalik T. *Filozofia społeczna Ludwika Krzywickiego* // *Polska myśl filozoficzna i społeczna* / red. B. Skarga. Warszawa, 1975. Т. 1. S. 427.

²⁴ «Народы: обзор этнической антропологии» (польск.). – Примеч. пер.

²⁵ «Физические расы» (польск.). – Примеч. пер.

²⁶ «Психические расы» (польск.). – Примеч. пер.

²⁷ «Социальное развитие среди животных и у человеческого рода» (польск.). – Примеч. пер.

²⁸ «Социально-экономический строй в период дикости и варварства» (польск.). – Примеч. пер.

²⁹ «Социологические исследования» (польск.). – Примеч. пер.

³⁰ «Первобытное общество и его демографическая статистика» (англ.). – Примеч. пер.

³¹ Krzywicki L. *Ustroje społeczno-gospodarcze w okresie dzikości i barbarzyństwa*. Warszawa, 1914. S. 328.

³² Kowalik T. *Filozofia*. S. 427.

Об оригинальности использования Кшивицким принципов исторического материализма свидетельствует прежде всего его концепция территориальных обществ, которые в процессе исторического развития приходят на смену родовым обществам. Эта концепция, хотя и не противоречила текстам Маркса и даже была ими инспирирована, касалась, однако, в основном изменений социальной связи и напоминала во многих отношениях появившуюся примерно в то же время концепцию Тённиса. Родовые общества, по Кшивицкому, основаны на прямых отношениях человека с человеком, в то время как территориальные общества – это «система предметных сцеплений», «организация людей посредством вещей».

Территориальное общество – это понятие, охватывающее все классовые общества, то есть такие, в которых существует частная собственность. Марксова концепция овеществления отношений между людьми была здесь, таким образом, значительно расширена. Развитие территориальных обществ – процесс стихийный и неконтролируемый. Кшивицкий полагал, что исторический материализм является теорией как раз таких обществ, но неприменим к обществам другого типа, то есть первобытным родовым и будущим социалистическим обществам³³.

Оригинальным на фоне тогдашней марксистской мысли представляется также проведенный Кшивицким анализ процессов социальных изменений. Он включал в себя прежде всего вопросы роли социальных идей, традиции и психологических факторов. Кшивицкий не подвергал сомнению марксистские формулы, касающиеся базиса и надстройки (хотя и не пользовался этой терминологией), но занялся он не столько поиском их подтверждения, сколько исследованием многообразия факторов, осложняющих зависимость надстройки от базиса. Мыслитель называл производство «вечным революционером», но был очень далек от того, чтобы объяснять любые социальные изменения экономическими изменениями. Так, по его мнению, в результате «путешествия идеи» (например, римского права) могло произойти ускорение социального развития, непропорциональное изменениям «материальной» базы.

Наибольшую известность, однако, получила развитая Кшивицким концепция «исторического субстрата» (*podłoże historyczne*), в соответствии с которой «каждая фаза социального развития оставляет после себя наследие, которое переплетается и сливается с наследием более ранних периодов. Из соединения этих элементов, одни из которых взяли начало в более, а другие в менее отдаленном прошлом, и исторических пережитков с не соответствующими уже вообще потребностям рассматриваемой исторической эпохи, но еще существующими во всей полноте институтами образуется влиятельная категория факторов исторического развития...»³⁴. В результате «существующий порядок вещей только в некоторой степени соответствует господствующим производительным силам»³⁵.

Творчество Кшивицкого было одной из первых удачных попыток использования марксизма для решения проблем, которыми жила тогдашняя социология, и вместе с тем использования данных, собранных за пределами марксизма для его обогащения и модернизации. Коротко говоря, Кшивицкий доказал на практике возможность существования марксистской социологии. К сожалению, большинство марксистов удовлетворялось повторением и комментированием общих утверждений Маркса.

Другой польский марксист, заслуживающий в этом контексте по крайней мере упоминания, – это *Казимеж Келлес-Крауз* (*Kazimierz Kelles-Krauz*) (1872–1905), который создал любопытную теорию «перевернутой ретроспекции» (*retrospekcji przewrotowej*)³⁶ и, что еще важнее,

³³ Krzywicki L. Rozwój społeczny wśród zwierząt i u rodzaju ludzkiego // Krzywicki L. Wybór pism / Wyboru dokonała i wstępem opatrzyła H. Hołda-Różiewicz. Warszawa, 1978. S. 340–341.

³⁴ Krzywicki L. Idea a życie // Krzywicki L. Wybór pism. S. 340–341.

³⁵ Krzywicki L. Rozwój społeczny. S. 352.

³⁶ Во фр. текстах автора – «la loi de la rétrospéction révolutionnaire». Иногда переводится на рус. яз. как «закон ретроспекции в революции» или «закон ретроспективности». – *Примеч. ред.*

затронул отодвинутую на дальний план и в историческом материализме, и социологии теоретическую проблематику нации.

4. Революционный марксизм первой четверти XX века

Против позитивистской интерпретации исторического материализма, типичной для марксизма II Интернационала, выступил так называемый революционный марксизм. Его появление было тесно связано с политической деятельностью Ленина, и в сфере политической практики он был, по сути, тождественен ленинизму. Поскольку мы здесь все же занимаемся теорией, а не практикой, мы не можем назвать его просто ленинизмом, так как, во-первых, Ленин-теоретик был значительно менее революционно настроен, чем Ленин-практик, во-вторых же, хотя самые выдающиеся теоретики революционного марксизма и встали на сторону Ленина, их взгляды явно не укладывались в рамки марксистско-ленинской ортодоксии. Речь идет о таких авторах, как *Джёрдь Лукач* (1885–1971), *Карл Корш* (1886–1961) и *Антонио Грамши* (1891–1937). Впрочем, первый под влиянием партийного осуждения быстро отказался от тех своих взглядов, которые нас здесь интересуют, второй вообще позже отошел от марксизма, а третий излагал свои мысли в основном на страницах тюремных тетрадей, опубликованных спустя много лет. Тем не менее речь все же идет о важном эпизоде истории социальной мысли, который, как мы увидим, будет иметь весьма серьезные последствия в виде возникновения так называемого «западного марксизма».

Связывая происхождение революционного марксизма с личностью Ленина, мы имеем в виду, во-первых, его борьбу с «оппортунизмом» II Интернационала, а также создание им современного коммунистического движения, которое, продолжая марксистскую традицию, представляло, однако, принципиально иную концепцию борьбы за власть и строительства нового социального порядка; во-вторых, изменение им иерархии значимых для марксизма вопросов. Коротко говоря, это изменение заключалось в том, что политика заняла место «социологии»: центральным для марксизма вопросом перестало быть действие законов социального развития, им стала революция, успех которой в меньшей степени зависит от «зрелости» общества, а в большей – от решительности и подготовки ее организаторов. Наиболее отчетливо этот вопрос поставил Лукач, противопоставляя «социологии» философию истории, а фактам и предполагаемым объективным закономерностям – «волю», которую назвал «по крайней мере такой же органической частью „зрелости“ ситуации, как и объективные условия»³⁷. Само собой разумеется, что ключевое значение при этом приобретали вопросы социального сознания и организации.

Конечно, мы здесь ни в коем случае не наблюдаем полного разрыва преемственности в развитии марксизма, потому как речь шла в итоге о новой интерпретации той же самой доктрины, на которую ссылались критикуемые Лениным вожди II Интернационала, к тому же он сам вырос на их сочинениях и не сразу был готов к решительному разрыву, который все же произошел, но произошел вовсе не по причине иного толкования исторического материализма. Камнем преткновения стала демократия, а не социология.

Во многом верным представляется утверждение Алена Безансона, что «ленинизм – не что иное, как абсолютное доверие марксистскому анализу в том виде, в котором он был более или менее кодифицирован Энгельсом, Каутским, Мерингом, Плехановым и мыслителями европейской социал-демократии»³⁸. Что еще важнее, политический разрыв с людьми II Интернационала вовсе не означал такого же глубокого раскола в теоретических вопросах, тем более что занятия теорией отходили в случае Ленина на второй план и приходились в основном на периоды политического зстоя. Впрочем, неизвестно, сознавал ли Ленин, как много марксистских аксиом ставил под вопрос выбор его политической стратегии. Грамши очень верно

³⁷ Лукач Д. Большевизм как моральная проблема // Лукач Д. Политические тексты. М.: Три квадрата, 2006. С. 5–6.

³⁸ Безансон А. Интеллектуальные истоки ленинизма. М.: Издательство «МИК», 1998. С. 207.

назвал большевистскую революцию «революцией против «Капитала»³⁹, имея в виду отсутствие в России почти всего того, что Маркс считал материальными предпосылками свержения капитализма.

Так или иначе, принципиальный теоретический спор с марксизмом II Интернационала был начат не столько самим Лениным, сколько авторами, которые вышли, так сказать, из совершенно другой школы. Лукач, Корш и Грамши пришли к марксизму через антипозитивистскую философию стыка веков, вследствие чего иначе, чем он, воспринимали Маркса: он был им близок, поскольку был близок Гегелю, а не позитивизму.

Для Ленина важнее всего был марксов материализм, хотя он пытался изучать Гегеля, результатом чего стали «Философские тетради» 1914–1916 гг. (9 тетр., изд. 1929–1930). По его мнению, однако, то, что Маркс и Энгельс «в своих сочинениях больше подчеркивали *диалектический* материализм, чем диалектический *материализм*, больше настаивали на *историческом* материализме, чем на историческом *материализме*»⁴⁰, было результатом стечения обстоятельств, а не наделения вопроса диалектичности и историчности безоговорочным первостепенным значением. В умалении материалистических элементов марксизма Ленин видел одну из характерных черт ревизионизма и его «социологии»⁴¹; по этой причине он резко критиковал концепции, утверждающие тождественность общественного бытия и общественного сознания. Как известно, его продолжатели – Бухарин и Сталин – пошли еще дальше в том же направлении. Продолжатели же марксизма Лукача, Корша и Грамши пошли в противоположном направлении.

Ленин и социология

В области практической политики Ленин (1870–1924) был несомненным новатором, в области же теории общества он был им в крайне незначительной степени. В своих работах по этому вопросу он выступал прежде всего как экзегет текстов Маркса и Энгельса, а также противник любого ревизионизма, нарушающего норму верности духу и букве сочинений учителей. Характерные примеры – это, с одной стороны, «Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии» (1909), с другой – «Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции» (1918). Их отличительной чертой также является нагромождение призванных скопрометировать противников инсинуаций и эпитетов, которое очень затрудняет их чтение как не только политических текстов.

Тем не менее теоретические взгляды Ленина нельзя игнорировать, поскольку, во-первых, в них иногда встречается что-то любопытное, а во-вторых, они оказали такое огромное влияние на марксистскую мысль XX века, что без их знания о ней сложно что-либо сказать. Искать в них какую-то особую глубину или, например, инспирацию для какой-то «другой социологии»⁴² – предприятие экстравагантное, но их стоит знать хотя бы в общих чертах. Мы здесь займемся, естественно, не всей совокупностью взглядов Ленина, а только его «социологией», и лишь в той степени, в какой она была эксплицитно изложена. Это последняя оговорка необходима, так как некоторые социологические взгляды возможно вычитать и из высказываний Ленина на политические и экономические темы.

³⁹ См.: Therborn G. Critical Theory and the Legacy of Twentieth-Century Marxism // The Blackwell Companion to Social Theory / Ed. by B. S. Turner. Oxford; Cambridge, 1996. P. 62.

⁴⁰ Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. М.: Издательство политической литературы, 1968. Т. 18. С. 350.

⁴¹ Там же. С. 350–351.

⁴² См.: Kozakiewicz H. Inna socjologia. Studium zapoznanej metody. Przyczynek do sporu o wyjaśnienie zjawisk społecznych. Warszawa, 1983.

Ленин не писал об историческом материализме вообще, он интересовался в основном его применением как инструмента объяснения явлений истории России. Такой характер имела его первая серьезная работа, а именно «Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности» (1899). Пери Андерсон справедливо заметил об этой книге (похоже, лучшей из всего написанного Лениным), что в ней «впервые серьезно применялась изложенная в „Капитале“ общая теория капиталистического способа производства к анализу конкретной общественной формации, в которой сочетались несколько способов производства, соединяясь в историческую целостность»⁴³. Эта ориентация на историю конкретной страны, очевидно, способствовала подчеркиванию, что «огромный шаг вперед» Маркса заключался в отказе от рассуждений об обществе и прогрессе вообще и концентрации на «научном анализе одного общества и одного прогресса – капиталистического»⁴⁴. И в другом месте: «Прежние экономисты не понимали природы экономических законов, когда сравнивали их с законами физики и химии»⁴⁵, упуская из виду их конкретно-исторический характер.

Ленин сделал акцент на том, чтобы «смотреть на общество, как на живой организм в его функционировании и развитии»⁴⁶, исследовать социальные факты в их взаимосвязи. Он считал заслугой марксистов, что они выдвинули «вопрос о необходимости анализа не одной экономической, а всех сторон общественной жизни»⁴⁷. Очевидно, именно это Ленин имел в виду, защищая в цитируемой работе диалектику и противопоставляя ее метафизике⁴⁸. По этой же причине он подчеркивал, что в социальных науках «нет приема более распространенного и более несостоятельного, как выхватывание отдельных фактиков, игра в примеры. Подобрать примеры вообще – не стоит никакого труда, но и значения это не имеет никакого, или чисто отрицательное, ибо все дело в исторической конкретной обстановке отдельных случаев»⁴⁹.

Этот интерес к историческому контексту никак, однако, не входил в конфликт с убеждением, что марксистская социология, как и любая другая наука, открывает законы. Важно было лишь на основе знания общих исторических законов не делать никаких заключений о конкретном обществе в конкретный момент его развития. Принятие такой позиции было вполне естественным в ситуации, в которой революция в России была невообразима в свете общих законов исторического развития, о которых марксисты до сих пор рассуждали.

А именно революция была, как мы уже сказали, главной темой социологической рефлексии Ленина. Если он что-то и менял в распространенном на стыке веков толковании марксизма, то это происходило в результате поисков легитимации и программы для революции. В этом смысле Ленин был, безусловно, инициатором того, что получило название *революционного* марксизма. В его случае революционизм проявлялся прежде всего в навязчивой демонстрации разделения общества на классы и непрерывной борьбы между ними, которая идет во всех сферах общественной жизни. Поляризация общества, которую предсказывал Маркс (впрочем, он оказался не прав) как результат дальнейшего развития капитализма, для Ленина была очевидна на день сегодняшний.

⁴³ Андерсон П. Размышления о западном марксизме. М.: Интер-Версо, 1991. С. 20.

⁴⁴ Ленин В. И. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? (ответ на статьи «Русского богатства» против марксистов) // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 1: 1893–1894. 5-е изд. М.: Издательство политической литературы, 1967. С. 143.

⁴⁵ Там же. С. 167, см.: Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм. С. 363.

⁴⁶ Ленин В. И. Что такое «друзья народа». С. 192.

⁴⁷ Там же. С. 161.

⁴⁸ Там же. С. 165 и далее.

⁴⁹ Ленин В. И. Статистика и социология // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 30: Июль 1916 – февраль 1917. 5-е изд. М.: Издательство политической литературы, 1973. С. 350.

Понятие класса Ленин эксплицитно противопоставлял понятию группы, которым любили пользоваться социологи, считая его слишком «неопределенным и произвольным», поскольку «нет твердого признака, по которому бы... можно было различать те или иные „группы“». Теория же классовой борьбы потому именно и составляет громадное приобретение общественной науки, что устанавливает приемы этого сведения индивидуального к социальному с полнейшей точностью и определенностью»⁵⁰.

Помещение классов и классовой борьбы в центр концепции общества позволило Ленину справиться определенным образом с дилеммой бытия и долженствования, которая мучила марксистов II Интернационала: он считал возможным объединить научное описание социальных процессов с формулированием «лозунга борьбы» – идеал был им сформулирован как «требование такого-то класса, порождаемое такими-то общественными отношениями (которые подлежат объективному исследованию)»⁵¹. По Ленину, «объективист, доказывая необходимость данного ряда фактов, всегда рискует сбиться на точку зрения апологета этих фактов; материалист вскрывает классовые противоречия и тем самым определяет свою точку зрения. <...> Он не ограничивается указанием на необходимость процесса, а выясняет, какая именно общественно-экономическая формация дает содержание этому процессу, какой именно класс определяет эту необходимость. <...> Материализм включает в себя, так сказать, партийность, обязывая при всякой оценке события прямо и открыто становиться на точку зрения определенной общественной группы»⁵².

Принцип такой теоретической партийности Ленин объединил с требованием партийности в обычном смысле слова, выступая за то, чтобы рассматривать марксизм как «оружие» конкретной политической партии, являющейся олицетворением рабочего класса. Стоит отметить, что «оружием» должно было быть не только марксистское политическое или общественное знание, но и, например, философия, которую автор «Материализма и эмпириокритицизма» считал политической *par excellence* дисциплиной. Для Ленина, впрочем, не было дисциплин политически нейтральных: в каждой должно было сделать выбор между социалистической и буржуазной идеологией, между которыми нет места ничему другому.

Проблема партийности вообще кажется корнем социальной мысли Ленина, который, по сути, не мог себе представить области, в которой эта категория не находила бы прямого применения. Поэтому важнейшей, возможно, его работой была брошюра «Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения» (1902), содержащая концепцию партии. Косвенно это была также, несомненно, демонстрация взгляда на роль субъективного фактора в истории – взгляда, который перечеркивал принятые марксистами II Интернационала мнения на эту тему. Мы, однако, напомним, что, подчеркивая политическое новаторство Ленина, следует избегать преувеличения его теоретического новаторства и в области марксистской «социологии», и в любой другой социальной науке, чем десятилетиями занимались представители марксизма-ленинизма. Его обращения к теории были продиктованы скорее стремлением обосновать политику и предотвратить расхождение во мнениях у членов партии, чем желанием решить ту или иную теоретическую проблему. Как написал Безансон, «все в ленинизме и все в личности Ленина сводится к политике»⁵³. С этой точки зрения Ленин отличался от Маркса, верным учеником которого он хотел считаться, поскольку Маркс был интеллектуалом, мечтающим о том, чтобы изменить мир, а Ленин был просто «профессиональным революционером».

⁵⁰ Ленин В. И. Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 1: 1893–1894. 5-е изд. М.: Издательство политической литературы, 1967. С. 428–429.

⁵¹ Там же. С. 436.

⁵² Ленин В. И. Экономическое содержание народничества. С. 418–419.

⁵³ Безансон А. Интеллектуальные истоки ленинизма. С. 219.

Лукач: критика социологии

Самой радикальной, но при этом и самой теоретически интересной манифестацией так называемого революционного марксизма был сборник исследований, изданный в 1923 году венгерским философом Дьёрдем Лукачем под названием «Geschichte und Klassenbewusstsein. Studien über die marxistische Dialektik»⁵⁴. Эта книга, являющаяся, безусловно, высшим достижением марксистской мысли в XX в., до сегодняшнего дня пользуется значительной популярностью, выходящей далеко за пределы марксизма. В границах последнего, впрочем, она долго оставалась «проклятой книгой», а сам автор, которому было чрезвычайно важно не оказаться за пределами коммунистического движения, быстро от нее отсекся. Тем не менее, именно эта книга более всего способствовала сохранению марксизмом некоторой интеллектуальной привлекательности, несмотря на интеллектуальный упадок представителей этого главного течения. Это, несомненно, самое серьезное достижение самого Лукача, хотя он был автором необыкновенно плодовитым и написал до и после этого много действительно стоящих произведений.

Этими другими произведениями мы здесь заниматься, однако, не будем, поскольку в большинстве своем они имеют не много общего с социологией, написанное же в конце жизни огромное «Введение в онтологию общественного бытия» (*Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins*⁵⁵, 1972, 3 ч.) кажется бесплодным произведением. «История и классовое сознание» заслуживает внимания как из-за того места, которое она заняла в гуманитарном знании XX века, и роли источника вдохновения, например, социологии знания, так и из-за того, что была свидетельством своего рода революции внутри марксизма – революции, заключающейся прежде всего в полном разрыве с позитивистской традицией и возврате к Гегелю. Эта революция требовала игнорировать как «Диалектику природы» Энгельса, так и «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина⁵⁶.

У нас нет причины заниматься здесь перипетиями интеллектуальной биографии Лукача, но все же следует упомянуть, что его взгляды сформировались в хороших немецких университетах в атмосфере так называемого антипозитивистского перелома. Сначала, правда, было не гегельянство, а кантианство, а к числу его учителей принадлежали в том числе Зиммель и Макс Вебер. Чем бы он ни был им обязан, он оказался вероломным учеником по крайней мере в двух отношениях. Во-первых, он повернулся в сторону Гегеля, а особенно Маркса, которого эти мыслители, правда, ценили, но старались преодолеть, во-вторых, он стал непримиримым врагом социологии как абсолютного, по его мнению, воплощения позитивистского мировоззрения, с которым он пытался бороться сначала на поприще академической философии, а позже в рамках спора об интерпретации марксизма.

В своей полемике с мыслителями II Интернационала Лукач выступил в том числе против убеждения, что возможно существование объективной марксистской социологии, в которой сфера фактов была бы отделена от сферы ценностей⁵⁷. Ставя гегелевский знак равенства между объектом и субъектом социального познания, автор «Истории и классового сознания» подверг, по сути, сомнению возможность адекватного социального знания, которое было бы чем-то иным, чем классовым сознанием пролетариата или, точнее говоря, его облагороженным выражением. Это классовое сознание, конечно, чисто теоретическая конструкция, так как

⁵⁴ «История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике» (нем.). – Примеч. пер.

⁵⁵ На русском языке опубликована часть этой работы под названием: Лукач Д. К онтологии общественного бытия. Прологомены. М.: Прогресс, 1991. – Примеч. ред.

⁵⁶ Говоря о «революции» Лукача, не стоит, конечно, забывать, что в похожем направлении в это же время, и даже немного раньше, двигались многие марксистские или близкие марксизму мыслители (в Польше Станислав Бжозровский), см.: Walicki A. Marksizm i skok do królestwa wolności. S. 117 et pass.

⁵⁷ См.: Goldmann L. Recherches dialectiques. Paris, 1959. P. 293.

речь ни в коем случае не шла о сознании каких-то действительно существующих пролетариев. Чтобы стать источником познавательного озарения, это «классовое сознание» само должно, как писал Лукач в одной из статей, «подняться над своей просто действительной данностью, осмыслить свое всемирно-историческое призвание и сознание своей ответственности. Ведь классовый интерес, реализация которого составляет содержание классово-сознательной деятельности, не совпадает ни с совокупностью принадлежащих к классу индивидов, ни с актуальными, сиюминутными интересами класса как коллективного единства»⁵⁸.

В другой статье автор «Истории» прямо противопоставил утопическую этическую волю человека, которая приобретает важнейшее значение в революции, тому, что он определял как «безддушную эмпирическую истину»⁵⁹. С такой точки зрения социология, программно сконцентрированная на этой действительности, должна была представляться препятствием на пути к освобождению и фактором мистификации, не позволяющей увидеть движущие силы Истории.

По мнению Лукача (обращающегося к марксову анализу товарного фетишизма), в условиях капиталистической экономики, механизмы которой остаются скрытыми от действующих индивидов, возникает особый образ мышления, превращающий все творения человека в независимые от него «вещи», изолированные друг от друга и неизменные. Собственная активность представляется людям подчиненной внешней необходимости, аналогичной законам природы. Их мир подвергается овеществлению, а не сознающая этого буржуазная наука пытается исследовать его так, как если бы он ничем не отличался от мира предметов, существующих независимо от какой-либо человеческой деятельности, упрочивая тем самым идеологическую мистификацию. Натурализм в социальных науках является, таким образом, продуктом отчуждения, которое происходит в исторических условиях, описанных Марксом. В мистификации, которую он укрепляет, заинтересована буржуазия, стремящаяся к тому, чтобы существующие под ее властью условия воспринимались как естественные и необходимые⁶⁰.

Чертой этого отчужденного сознания является, кроме всего прочего, видение всего по отдельности: социальный мир с этой точки зрения подвергается атомизации, распадается на индивиды, а также их отдельные акты, которые объединяет лишь то, что они подчиняются якобы каким-то абстрактным общим «законам». Буржуазная мысль по сути своей не в состоянии охватить социальный мир как меняющееся в ходе истории *целое*. Это находит в том числе выражение в дезинтеграции социального знания, которое распадается на отдельные дисциплины, занимающиеся разными типами изолированных фактов без осознания их взаимосвязи. Очень похожим образом высказывался по этому вопросу Корш, доказывая, что материалистическую концепцию истории «невозможно совместить с отдельными ответвлениями знания, изолированными и автономными, а также с чисто теоретическими исследованиями, объективными и оторванными от революционной практики»⁶¹.

С точки зрения Лукача, целью социального познания не является и не может быть открытие каких-то неизменных законов общественной жизни или причинных связей между теми или иными вычлененными из целого фактами. Превосходство марксизма над буржуазной наукой ни в коем случае не проявляется в том, что он лучше реализует тот же идеал науки. И дело не в том, что другим детерминизмам он противопоставляет экономический детерминизм. Принципиальная разница заключается в методе, в отличии точек зрения, а не в тех или иных конкретных утверждениях. «Не господство экономических мотивов в объяснении истории решающим образом отличает марксизм от буржуазной науки, а точка зрения тотально-

⁵⁸ Лукач Д. Тактика и этика // Лукач Д. Политические тексты. М.: Три квадрата, 2006. С. 25.

⁵⁹ Лукач Д. Большевизм как моральная проблема. С. 9.

⁶⁰ Лукач Г. История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. Пер., пред. С. Н. Земляного. М.: Логос-Альтера, 2003, см. особенно разделы «Классовое сознание», а также «Овеществление и сознание пролетариата».

⁶¹ Korsch K. Marxism. P. 32.

сти»⁶². И самый, без сомнения, важный вопрос: речь идет не столько о теоретической проницательности того или иного мыслителя, сколько о принятии точки зрения этого гипотетического рабочего класса, который по природе своего положения в капиталистическом обществе способен освободиться из-под власти его ложного сознания, достигнув понимания объективного исторического процесса.

Это историческое целое или, как чаще всего писал Лукач, «конкретная тотальность», которая должна быть главным объектом социального знания, не дана, о чем уже была речь, в непосредственном наблюдении, а должна быть, по примеру Маркса, реконструирована путем долгой и сложной мыслительной работы. Ошибка «вульгарного материализма» (это определение Лукач использовал в необыкновенно широком смысле, применяя его, по сути, к любому культу того, что дано эмпирически) заключается в том, что он не выходит за рамки поверхностного наблюдения отдельных явлений, полагая при этом, что приближается благодаря ему к познанию действительности, хотя *де-факто* оперирует только абстракциями⁶³. Абстракцией является любой изолированный факт, изъятый из исторической «конкретной тотальности».

Эти размышления Лукача были направлены против экономистов и историков, но их можно с успехом применить к неизвестной ему еще эмпирической социологии. Вся ее радикальная позднейшая критика воспроизводила, впрочем, так или иначе рассуждения автора «Истории и классового сознания», даже если ее авторы не разделяли всех его взглядов или вообще их не знали⁶⁴.

Лучшим примером подхода Лукача к исследованию социальной действительности является его понимание главной проблемы классового сознания. Он подверг резкой критике тех исследователей, которые сосредоточивают свое внимание на эмпирически данном «психологическом» сознании, то есть на том, что индивиды, принадлежащие к какому-то классу, думают, чувствуют и т. д. в данный момент. Правда, он не отрицал ценности такого «наивного описания», но утверждал, что это в лучшем случае лишь сырой материал. Классовое сознание, определяющее «исторически значимую деятельность класса», «не является ни суммой, ни усреднением того, что думают, воспринимают и т. д. отдельные индивиды, образующие классы»⁶⁵. Настоящий исторический анализ начинается, по мнению Лукача, только тогда, когда мы начинаем оперировать понятием целого, то есть пытаемся интерпретировать наблюдаемые явления в контексте конкретной общественно-экономической формации. Рассматриваемое под этим углом эмпирически данное «психологическое» сознание оказывается ложным сознанием, так как не соответствует объективной ситуации его носителей, которая в конечном итоге предопределяет их историческую роль.

Стоит, впрочем, отметить, что Лукач вообще сомневался в пригодности психологии для того, кто интересуется обществом, поскольку он считал, что «у всей прежней психологии, включая фрейдовскую, есть слабость, которая заключается в том, что она отталкивается от искусственно изолированных капиталистическим способом производства и капиталистическим обществом одиноких человеческих существ. Она рассматривает их черты – также сформированные капитализмом – как неизменные атрибуты, которые действительно являются для людей „естественной необходимостью“ <...> Таким образом, психология в корне не права. Она пытается объяснять социальные отношения между людьми через индивидуальное сознание (или бессознательное) вместо того, чтобы выявлять социальные основания обособления чело-

⁶² Лукач Г. История и классовое сознание. С. 128.

⁶³ Там же. С. 111.

⁶⁴ Здесь можно сослаться, например, на критику «отвлеченного эмпиризма» Чарльза Райта Миллса, см.: Миллс Ч. Социологическое воображение. М.: Издательский дом «NOTA BENE», 2001. Гл. 3.

⁶⁵ Лукач Г. История и классовое сознание. С. 150.

веческого существования от целого и искать решение связанной с этим проблемы человеческих взаимоотношений»⁶⁶.

Эмпирически данному сознанию индивидов – членов класса Лукач противопоставил потенциальное сознание класса как исторического коллективного субъекта. Только при учете этой «объективной возможности» есть шанс, по его мнению, понять реальный исторический процесс. Можно сказать, что это марксова концепция «класса для себя», изложенная автором, который хотя и прочитал Макса Вебера, но не принял к сведению, что идеальный тип – это лишь фикция, созданная исследователем. «Классовое сознание» пролетариата, в понимании Лукача, оказывается реальной исторической силой, к которой он относится чуть ли не с религиозным почтением.

Это почтение было перенесено им на Ленина и большевистскую партию, что, впрочем, было вполне логично: раз возможное историко-созидательное сознание от реального отделяет пропасть, то ставка на революционный авангард – единственное решение, доступное для того, кто абсолютно убежден, что старый мир должен пасть, а новый возникнуть. Поэтому может показаться странным, что в коммунистических кругах труд Лукача сразу столкнулся с враждебностью и официальным осуждением. Это можно объяснить только тем, что он выражал личную точку зрения автора, который хоть и был ревностным коммунистом, но пришел к этому своим собственным путем, и ему было важнее сохранить свою философию, чем держаться «линии» и говорить на том же, что и все, языке. В результате независимо от политических выводов, которые могли следовать из этого произведения и которые сделал сам автор, «История и классовое сознание» стала выражением исключительной позиции в коммунистической литературе. Как мы увидим позже, впрочем, этот труд оказывал значительное влияние на круги, настроенные явно недоброжелательно к марксистско-ленинской ортодоксии.

Грамши: критика социологии

В очень похожем направлении продвигались исследования выдающегося итальянского марксиста Антонио Грамши, хотя его путь к историческому материализму был иным и вел через неогегельянство *Бенедетто Кроче* (1866–1952). Так же как и Лукач, Грамши вошел в историю марксистской мысли как радикальный критик позитивизма, а особенно той его разновидности, которую называли марксизмом II Интернационала. Мы не будем здесь анализировать всю систему его взглядов, какой бы большой интерес они во многих случаях ни представляли, а займемся в основном его критикой позитивистской социологии, которой автор «Современного государя» противопоставлял не другую социологию, а совершенно иной тип социального знания. Так же как и многие другие тогдашние мыслители, он не мог себе представить иную социологию, чем позитивистская.

Теоретические взгляды Грамши – одного из основателей Итальянской коммунистической партии – были сформулированы в «Quaderni del carcere»⁶⁷ – тетрадях, которые он вел в 1929–1937 гг. В этих тетрадях содержатся в основном заметки и фрагменты, далекие от завершения. Упорядоченные и опубликованные только после Второй мировой войны (1948–1951, в 6 т.; полное критическое издание – 1975, 4 т.), они вызывают немало интерпретационных трудностей, тем не менее основные принципы социальной теории Грамши просматриваются в них очень отчетливо. Не подлежит сомнению, что мы имеем дело с мыслителем исключительно оригинальным. Его заметки касаются множества политических, философских, социологических, исторических, историко-литературных и т. д. вопросов. Критика социоло-

⁶⁶ Lukács G. Freuds Massenpsychologie // Politische Aufsätze, 1918–1929. Vol. 3: Organisation und Illusion. Darmstadt; Neuwied, 1977. P. 135.

⁶⁷ «Тюремные тетради» (ит.). – Примеч. пер.

гии содержится прежде всего в «Note critiche su un tentativo di „Saggio popolare di sociologia“»⁶⁸ (1932–1933, изд. 1949) – критике очерка Николая Бухарина⁶⁹.

Книга Бухарина идеально подходила, впрочем, для критики со стороны обоих обсуждаемых мыслителей, так как являлась отличным примером отвергаемой ими версии марксизма. Во-первых, в ней содержался четко сформулированный тезис, что исторический материализм – это не что иное, как марксистская социология, а также такое его толкование, которое делало его похожим на другие социологические теории того времени, которых не коснулся антипозитивистский перелом; во-вторых, автор труда исходил из натуралистической концепции науки; в-третьих, книга постулировала понимание общества как системы, находящейся в состоянии равновесия. Хотя сам Бухарин был коммунистом и выдающимся большевистским вождём, он парадоксальным образом представлял в теории «позитивистский марксизм» в чистейшем виде.

Грамши выступал против философского материализма, усматривая в нем реликт религиозного мышления, всегда предполагающего существование независимой от мыслящего субъекта действительности. Также он высказывался против детерминизма, который был склонен отождествлять с фатализмом, поскольку тот, как он считал, неизбежно исключает из картины мира человеческую активность и пытается втиснуть бесконечное разнообразие явлений в одну причинно-следственную схему. Детерминистская концепция действительности, писал он, «ложная, поскольку невозможно игнорировать волю и инициативу самих людей»⁷⁰. Такая концепция может представляться убедительной, пока массы остаются пассивными или считаются таковыми, а господствующая система функционирует без серьезных нарушений и выглядит неизменной⁷¹.

Понимание истории как неуклонного процесса, а особенно понимание великих исторических переломов требует принятия совершенно иного видения социального мира, в соответствии с которым «объективность» не означает независимости от того, что сделают люди, а предвидение выступает «не как научный акт познания, а как абстрактное выражение прилагаемого усилия, как практический способ создать коллективную волю»⁷². Грамши мечтал о преодолении «натуралистической» стихийности социальных процессов и потому противопоставил социологии политику или – шире – марксизм, понимаемый как «философия практики», а не знание об «объективных» законах, которым люди, желая того или нет, подчиняются. По сути, это переформулированное лукачевское противопоставление утопической этической воли «бездушной эмпирической действительности».

Социология была, с точки зрения Грамши, воплощением всех грехов критикуемого им мировоззрения. По его мнению, «социология... была попыткой создать метод историко-политической науки в зависимости от уже разработанной философской системы – эволюционистского позитивизма (...). Стало быть, социология – попытка „экспериментально“ выявить законы эволюции человеческого общества, чтобы „прогнозировать“ будущее столь же надежно, как надежно известно, что из желудя вырастет дуб. Вульгарный эволюционизм лежит в основе социологии, не ведающей принципа диалектики о переходе количества в качество, переходе, не позволяющем понимать в духе вульгарного эволюционизма никакую эволюцию, никакой закон единообразия»⁷³. В другом месте Грамши связывает возникновение и карьеру социологии с упадком «политического знания и искусства», утверждая: «Что в социологии по-настоя-

⁶⁸ «Критические заметки о попытке создания „Популярного очерка по социологии“» (ит.). – Примеч. пер.

⁶⁹ См.: Грамши А. Критические заметки о попытке создания «Популярного очерка по социологии» // Грамши А. Тюремные тетради: В 3 ч. М.: Политиздат, 1991. Ч. 1. С. 149–201.

⁷⁰ Gramsci A. Nowoczesny książę // Gramsci A. Pisma wybrane. S. 605.

⁷¹ Грамши А. Критические заметки. С. 156–157.

⁷² Там же. С. 166.

⁷³ Там же. С. 155–156.

щему важно, так это политическое знание»⁷⁴. Он, похоже, жалеет, что между обществом и государством было проведено такое четкое разделение, и отмечает, что это разделение должно иметь чисто методологический характер⁷⁵.

Грамши защищал распространенное критиками позитивизма убеждение, что методы естествознания неприменимы в гуманитарных науках: «Каждая область исследований имеет свой определенный метод и создает свою определенную науку... метод развивался и разрабатывался вместе с развитием и разработкой каждой данной области исследований и данной науки и составляет с ними единое целое»⁷⁶. В его случае это, однако, не была защита академической гуманитарной науки от деформаций, которые могли быть следствием некритического заимствования чуждых ей методов естествознания. Речь шла о поисках мировоззрения общественного движения, которое целиком подвергает сомнению *статус-кво* и по этой причине заинтересовано в отрицании всех привычных методов. Характерной чертой позиции Грамши было то, что он считал новое социальное знание необходимым в периоды революционных переломов, при этом он не исключал, что старое знание дает удовлетворительные объяснения явлений в периоды стабилизации и застоя⁷⁷. Это новое знание, стало быть, не является, как и у Лукача, лишь вопросом методологического новаторства, а возникает благодаря изменениям социальной действительности, а также благодаря изменению роли исследователя, который из наблюдателя превращается в соавтора истории.

Критику детерминизма, предпринятую Грамши, не следует все же считать свидетельством его перехода на позиции субъективизма или волюнтаризма. В любом случае он сам был убежден, что он в состоянии избежать такого перехода. Реинтерпретируя исторический материализм, он одновременно выступал против «экономизма», переоценивающего «механические причины», а также против «идеологизма», который преувеличивает значение волюнтаристского и индивидуального элемента⁷⁸. Грамши было важно не сводить отношения между человеческой деятельностью и объективными условиями, в которых она происходит, к отношениям между следствием и причиной, которая данное следствие непременно за собой влечет. Можно говорить разве лишь о вероятности возникновения того, а не иного следствия, и только *ex post* оказывается, что приведшая к нему деятельность была действительно, как называл это Грамши, «исторической» или «органической». Нет иного пути, кроме пути проб и ошибок. «Истинность» и «рациональность» представлений о социальной жизни зависят в конечном итоге от того, подталкивают ли они вперед историческое развитие общества, но это никогда не бывает заранее известно.

Одним из самых интересных фрагментов концепции Грамши было понимание проблематики социальных идей. Ее отправной точкой было различие «философии обыденного сознания», то есть «мировоззрения, некритически позаимствованного из различных социальных и культурных сфер, где формируется моральный облик среднего человека», и критического мировоззрения, «философии философов». «Философия обыденного сознания» отличается отсутствием цельности и последовательности; она является результатом пересечения самых разных влияний и традиций. «Философия философов» же «однородная, то есть логическая и систематическая»⁷⁹. Каждая из этих «философий» соответствует разным историческим условиям: первая существует в условиях социальной дезинтеграции и пассивности; вторая становится возможна в условиях интеграции и активности. Проблематика изменений созна-

⁷⁴ Gramsci A. Nowoczesny książę. S. 604.

⁷⁵ Ibid. S. 529–530.

⁷⁶ Грамши А. Критические заметки. С. 166.

⁷⁷ Там же. С. 160–161.

⁷⁸ Грамши А. Современный государь // Грамши А. Избранные произведения. Т. 3: Тюремные тетради. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1959. С. 165.

⁷⁹ Грамши А. Критические замечания. С. 149.

ния и условий, в которых они происходят, находилась в центре интересов Грамши, который благодаря этому внес серьезные коррективы в марксистское понимание идеологии⁸⁰, отвергая в итоге ее марксово понимание как ложного сознания и подчеркивая ее социальные функции как фактора «гегемонии».

* * *

Революционный марксизм, три разновидности которого – возникшие в значительной степени независимо друг от друга, хотя и в одной и той же атмосфере приближающейся или уже происходящей революции – были рассмотрены выше, означал, как мы видим, отход от образа мышления, характерного для марксизма II Интернационала. С точки зрения теории исторического материализма изменения заключались прежде всего в выдвижении на первый план проблем революции и классового сознания как ее важнейшего коррелята. Хотя ни один из обсуждаемых здесь мыслителей не подверг напрямую сомнению фундаментальные утверждения исторического материализма, иерархия вопросов была в их творчестве принципиально изменена по сравнению с марксизмом II Интернационала: все было подчинено вопросу, что играет решающую роль в успехе революционного движения и как его максимально ускорить, несмотря на «незрелость» материальных предпосылок. Отсюда первостепенное значение проблематики классового сознания и политики. Отсюда протест против объективизма, а также подчеркивание значения воли и поступка. Отсюда интерпретация исторического процесса в категориях скорее человеческой практики, чем независимых от людей законов развития обществ. Отсюда также неприязнь к социологии, отождествляемой (в некоторой степени справедливо, поскольку она возникла как попытка объяснить «естественную историю» общества) с исследованием фактов в отрыве от исторической *praxis*.

Революционный марксизм был своего рода антипозитивистским переворотом внутри марксистской мысли. Стоит добавить, что этот переворот вскоре получил неожиданную поддержку со стороны молодого Маркса, неизвестные тексты которого были открыты в двадцатые годы. Их содержание противоречило доминирующей в течение длительного времени интерпретации марксизма. Очевидно, по этой причине официальные, так сказать, его представители восприняли эти тексты без энтузиазма, склоняясь к мысли, что их написал еще не вполне «зрелый» автор.

В главном течении марксистской мысли теоретические возможности этого толкования исторического материализма, начало которому положили представители так называемого революционного марксизма, никогда не использовались. На это повлиял, видимо, целый ряд обстоятельств, а прежде всего то, что традиционное толкование, особенно после его дальнейшего упрощения, несравнимо лучше подходило для основы коммунистического букваря, чем новое толкование, у истоков которого находился, с одной стороны, революционный пафос периода Октября, а с другой – своего рода восхищение достижениями трудной и «классово чуждой» идеалистической философии. В результате Лукач, Корш и Грамши оказались наставниками различных ревизионистских авторов, которые хотели остаться в русле марксизма, избавившись от марксистско-ленинской ортодоксии. Даже Ленин, впрочем, порой служил вдохновением для попыток такого рода, что, однако, было уже явной мистификацией.

В коммунистическом букваре оказался, по сути, только один элемент, характерный для этого нового толкования исторического материализма, о котором шла речь, а именно – отрицание социологии. Однако не представляется вероятным, чтобы свойственное коммунистам ликвидаторское отношение к этой дисциплине именно его имело своим источником. Оно скорее было производной догматизации доктрины и сопротивления любым внешним влияниям во

⁸⁰ См.: Mc Lellan D. Ideology. Minneapolis, 1995. P. 25 et pass.

имя убеждения, что она абсолютно самодостаточна и потому должна обособиться от всего, что не находит достаточной опоры в сочинениях классиков. В итоге в Советском Союзе (а позже во всех странах, которые оказались под его влиянием) социологические исследования были надолго прекращены, а социологию стали считать «буржуазной» наукой, которая несовместима с историческим материализмом. Причины этого разрыва были все же не столько теоретическими, сколько политическими и идеологическими. Дело было не столько в иной концепции социальной науки, сколько в неприязни к любой науке, которая создавала хотя бы видимость объективности или независимости. Марксизм-ленинизм не был научной школой, которая одобряла независимое мышление, поэтому везде там, где он стал господствующей доктриной, он положил ему конец или, вернее, ограничил его до относительно небольшого круга отдельных вопросов, которые считал политически нейтральными. Социология к этому кругу не принадлежала.

5. О так называемом «западном марксизме»

Из того, что было сказано выше о судьбах марксизма в рамках коммунистического движения после победы большевистской революции и формирования Советского Союза как тоталитарного государства, в котором наука подлежала официальной регламентации, не следует, однако, что на этом история марксистской социологической мысли приближалась к своему завершению, а труды Маркса утратили всякую интеллектуальную привлекательность для людей, которые не были и не хотели быть коммунистами. Речь идет особенно об интеллектуальной формации, которую часто называют *западным* или *критическим марксизмом* и обыкновенно рассматривают как своего рода продолжение того, что начали Лукач и Грамши.

Понятие «западный марксизм», впервые использованное, видимо, *постфактум* Морисом Мерло-Понти в его изложении взглядов автора «Истории и классового сознания»⁸¹, охватывает довольно значительное число авторов, которые так или иначе обращались к Марксу, но в своих теориях не претендовали, однако, на роль приверженцев марксизма, а в политике в основном дистанцировались как от социал-демократии, так и от коммунизма. Если даже некоторые из них испытывали в некоторых фазах своей жизни восхищение перед революцией или занимались какой-то практической деятельностью в ее пользу, их сложно считать революционерами в том смысле, в каком это звание обычно воспринимали марксисты. Прежде всего они были интеллектуалами, радикализм которых проявлялся скорее в словах, чем в поступках, в связи с чем его иногда называли «салонным» или «кабинетным». Они не претендовали на роль вождей массового движения и, как правило, по словам Мартина Джея, «были довольны своим элитаризмом»⁸². Основой этого элитаризма был, среди прочего, новый на ниве марксизма социальный диагноз, в соответствии с которым капитализм хотя и не становится лучше, но по крайней мере не порождает своих «могильщиков» так безотказно, как предсказывал это «Коммунистический манифест».

Особенностью «западного марксизма» был в том числе отказ от миллениаристской веры в пролетариат и его историческую миссию. Он был связан, конечно, с далекоидущей ревизией многих других марксистских догматов, а также с новым во многих отношениях прочтением Маркса, благодаря которому он терял черты как пророка, так и одного из представителей «позитивной науки» об обществе, которые ему одинаково часто приписывали. Маркс становился в первую очередь великим философом, который в своей социальной теории дал достойный подражания пример радикально критической позиции.

Границы этого «западного марксизма» сложно обозначить, поскольку в XX веке к Марксу обращалось так или иначе множество людей, которых совершенно необязательно из-за этого называть марксистами, тем более что многие из них вовсе не были заинтересованы в таком ярлыке. Эти обращения к Марксу имели, впрочем, порой случайный характер и не влекли за собой серьезных последствий для системы взглядов данного мыслителя, которые намного легче уместить в рамки какого-нибудь другого «изма».

Непросто также сказать, в чем, собственно, заключался или заключается этот «западный марксизм», поскольку это понятие, даже в уточненном виде, охватывает мыслителей очень разных философских и политических ориентаций, которые интерпретировали Маркса различными, нередко взаимоисключающими способами и заимствовали у него самые разнообразные вещи. Достаточно сказать, что для одних этим «настоящим» Марксом был только молодой Маркс, рассуждающий на гегельянско-фейербаховском языке об отчуждении и «родовой сущности» человека, в то время как для других им был исключительно автор «Капитала», одним

⁸¹ Merleau-Ponty M. Les aventures de la dialectique. Paris, 1955. Part 2–3.

⁸² Jay M. Marxism and Totality. The Adventures of a Concept from Lukács to Habermas. New York, 1984. P. 12.

была важна «революция против „Капитала“», то есть они стремились лишить теорию Маркса характера претендующей на научность экономической теории, другие же хотели этот ее характер подчеркнуть, исключив из нее все «идеологическое» содержание (в таком направлении двигался, скажем, Луи Альтюссер, которого также часто называют «западным марксистом»).

В связи с этим иногда говорят, что «западный марксизм» – это, по сути, понятие прежде всего географическое, которое имеет смысл лишь при противопоставлении его представителям «советского марксизма», а как определение какой-то глубинной общности оно бесполезно. Такой взгляд во многом верен, поскольку «западный марксизм» невозможно представить – даже приблизительно – как некую совокупность, а тем более систему взглядов. Это лишь некоторое число довольно общих убеждений, которые, с одной стороны, отдаляли причисляемых к нему мыслителей от закостенелого марксизма-ленинизма, с другой же – поворачивали их против главного течения социальных наук западного мира.

Эти убеждения касались, во-первых, устойчивой актуальности марксовской концепции социальной теории; во-вторых, необходимости использовать критический потенциал этой теории и освободить ее от балласта «позитивистских» наслоений; в-третьих, потребности выйти за пределы буквы сочинений автора «Капитала» и принять во внимание как глубокие изменения, которые произошли с его времени в социальном мире, так и теоретические достижения, которые появились за пределами марксизма и по этой причине были большинством марксистов отвергнуты или проигнорированы.

Конечно, каждое из этих убеждений, а особенно эти последние могли быть слишком по-разному конкретизированы. В некоторых случаях они могли означать чуть ли не полный отход от Маркса, в то время как в других – своего рода синтез его взглядов со взглядами совершенно иного происхождения. Отказ от обязательной согласованности с марксистской ортодоксией означал отмену всех ограничений в этом отношении. Марксизм рассматривался здесь как обычная философская или научная теория, которая по своей природе может и должна постоянно подвергаться сомнению и ревизии, никогда не принимая окончательной и безусловно обязательной формы. Западные марксисты отвергли многие взгляды Маркса, сохранив в основном его образ мышления и некоторые важные вопросы. Ничего удивительного, что у правоверных марксистов-ленинистов они пользовались дурной славой и с ними боролись не менее энергично, чем с антимарксистами. Бурный характер этих атак на «западный марксизм», правда, сложно понять, учитывая, что его влияние было ограничено.

Среди концепций, объединенных общим названием «западный марксизм», наибольшую популярность приобрели концепции, которые обыкновенно называют *критической теорией*, поэтому их мы рассмотрим подробнее, отказавшись от обсуждения всех остальных. Это обосновано и тем, что именно критическая теория оказала на социологию самое большое и заметное влияние, хотя так называемую критическую социологию⁸³ не следует отождествлять с концепциями, возникшими в кругу непосредственного влияния критической теории. Так или иначе, нельзя не уделить ей внимание, если речь идет о судьбах социологической мысли в XX веке, а особенно о дискуссиях на тему характера и задач социальных наук.

Критическая теория Франкфуртской школы

Название «критическая теория» или «критическая теория общества» используется, по крайней мере довольно долго использовалось, в основном, если не исключительно, как собирательное определение идей, высказываемых в рамках так называемой Франкфуртской школы.

⁸³ См., например: Mucha J. Socjologia jako krytyka społeczna, Orientacja radykalna i krytyczna we współczesnej socjologii zachodniej. Warszawa, 1986.

В ней, впрочем, также постепенно начали сознательно использовать это название как самоопределение и антоним «традиционной теории»⁸⁴.

Определение «Франкфуртская школа» нельзя, однако, оставить без комментария, поскольку оно имеет три разных значения, которые представляются не одинаково удачными. Иногда это понятие используют для неофициального обозначения членов Института социальных исследований (Institut für Sozial Forschung), который был основан в 1923 году при Университете Франкфурта-на-Майне, а после прихода нацистов к власти действовал в эмиграции – в Женеве, Париже, Лондоне, с 1941 по 1950 г. – в Нью-Йорке, откуда был повторно перенесен во Франкфурт. Также понятие «Франкфуртская школа» используют для обозначения среды, сформировавшейся в рамках этого Института после того, как его возглавил *Макс Хоркхаймер* (*Max Horkheimer*) (1895–1973). Это серьезное уточнение, поскольку оно оставляет за пределами «школы» доминирующее сначала в Институте течение социальных исследований, связанное скорее с политической экономией, чем с философией, и гораздо более близкое к марксистской ортодоксии. В этот первый период большую роль в Институте социальных исследований играли, впрочем, еще ученые, имеющие социал-демократические или коммунистические партийные аффилиации, чего позже практически не случалось. Характерной фигурой этого периода был первый директор Института – *Карл Грюнберг* (*Karl Grünberg*) (1861–1940).

В упомянутом более узком значении Франкфуртская школа включает в себя, кроме Хоркхаймера, прежде всего таких мыслителей, как *Фридрих Поллок* (*Friedrich Pollock*) (1894–1970), *Герберт Маркузе* (*Herbert Marcuse*) (1898–1979), *Лео Лёвенталь* (*Leo Löwenthal*) (1900–1993) и *Теодор Визенгрунд Адорно* (*Theodor Wiesengrund Adorno*) (1903–1969). Это они образовывали ее *inner circle*⁸⁵. К ее членам причисляют, однако, также таких мыслителей, как *Вальтер Беньямин* (*Walter Benjamin*) (1892–1940), *Карл Виттфогель* (*Karl Wittfogel*) (1896–1987), *Франц Леопольд Нейман* (*Franz Leopold Neumann*) (1900–1954) или *Эрих Фромм* (*Erich Fromm*) (1900–1980), что, так или иначе, имеет свое обоснование, но вызывает в некоторых случаях большие сомнения из-за краткосрочности периода тесной связи и их «нетипичности» с той или иной точки зрения.

Так понимаемая Франкфуртская школа в некоторых работах была, однако, значительно расширена из-за включения в нее многих более младших немецких авторов, которых в той или иной степени можно считать учениками создателей критической теории, хотя они никогда не были членами Института социальных исследований. В этом смысле говорят о «втором поколении» Франкфуртской школы или даже называют Юргена Хабермаса одним из его главных представителей. Что бы ни объединяло этих авторов с «первым поколением» Франкфуртской школы, такое понимание ошибочно, поскольку предполагает, что эта школа все еще существует, что, безусловно, не соответствует истине: создавшие ее люди довольно давно умерли, а еще раньше перестали быть группой, заслуживающей звания *школы*.

Как справедливо заметил Эндрю Арато, «настоящей „школой“ в интеллектуальном и институциональном смысле они были только в американский период „Zeitschrift für Sozialforschung“»^{86, 87} (журнала, который издавался в 1932–1941 гг.⁸⁸ Институтом социальных исследований). Вторая из этих дат, впрочем, совпадает с датой переезда Хоркхаймера

⁸⁴ См.: *Horkheimer M.* Teoria tradycyjna a teoria krytyczna (orig. ed., 1937) // *Szkoła frankfurcka* / Tłum. J. Łoziński. J. Łoziński et al. (red.). Warszawa, 1987. T. 2. S. 137–171.

⁸⁵ Внутренний круг (англ.). – Примеч. пер.

⁸⁶ «Журнал социальных исследований» (нем.). – Примеч. ред.

⁸⁷ *Arato A.* Political Sociology and Critique of Politics. Introduction to 1st part of anthology *The Essential Frankfurt School Reader* / Ed. by A. Arato, E. Gebhardt. New York, 1978. P. 3.

⁸⁸ Следует уточнить, что в 1939 г. «Zeitschrift» превратился в «Studies in Philosophy and Social Sciences». – Е. Ш. («Исследования по философии и социальным наукам» (англ.). – Примеч. ред.).

и Адорно в Калифорнию, после которого ее нью-йорский штаб пришел в явный упадок. После Второй мировой войны никакой «Франкфуртской школы» уже не существовало, хотя Институт социальных исследований продолжал существование, а взгляды ее бывших членов были в той или иной степени сходными. Часть из них, впрочем, выбрали местом проживания США и работали уже исключительно сами по себе.

Критическая же теория существовала и существует до сих пор, со временем она, однако, перестала быть чисто немецким явлением и давно уже не связана ни с каким конкретным институтом. Речь идет разве что о некотором общем направлении, которое хотя и похоже на то, что предлагал Хоркхаймер в оппозиции к «традиционной» теории, но нередко имеет совершенно иные источники и формы выражения⁸⁹. Эта сегодняшняя критическая теория (а тем более критическая социология) не может, стало быть, рассматриваться как непосредственное продолжение Франкфуртской школы, хотя обращения к ней встречаются часто. Даже Хабермаса нельзя считать просто ее хорошим учеником.

Марксизм хоркхаймеровской Франкфуртской школы нередко становился объектом дискуссии⁹⁰, причем серьезные сомнения по поводу него высказывали не только марксистско-ленинские блюстители чистоты доктрины, но и независимые комментаторы. Главным источником этих сомнений может быть, с одной стороны, своего рода возврат к философскому идеализму, с другой же – множество существенных модификаций марковского понимания капитализма и связанного с ним проекта эмансипации – модификаций, являющихся прежде всего результатом размышлений о поражении революционного рабочего движения, изменениях капиталистической системы, а также возникновении таких явлений, как, с одной стороны, фашизм и сталинизм, с другой же – американское массовое общество. Эти модификации означали, среди прочего, отказ от концепции классовой борьбы, обязательной кульминацией которой была бы пролетарская революция. Тем не менее важным представляется обобщение марксовой критики капитализма, которая в критической теории в значительной степени превратилась в критику современного общества как такового, а также стала больше критикой «надстройки», чем «базиса». Следует добавить, что связь этой теории с марксистской традицией с течением лет становилась все слабее.

Хотя эти сомнения по поводу марксизма Франкфуртской школы, как мы видим, небезосновательны, сложно возразить, что именно марксизм был для нее не только отправной точкой (Институт социальных исследований изначально должен был называться *Institut für Marxismus*), но и устойчивой системой координат и источником вдохновения. Как отмечает Хабермас, сомнения в правильности марксовых диагнозов и прогнозов не означали в этом случае отсутствия солидарности с интенциями Маркса⁹¹. Стало быть, есть основания рассматривать Франкфуртскую школу как попытку адаптировать теорию автора «Капитала» к тем реалиям XX века, которые марксизм-ленинизм или полностью проигнорировал, или попытался втиснуть в свои архаические схемы. Другой вопрос, была ли эта попытка удачной и могла ли вообще быть удачной. В социологии роль Франкфуртской школы заключалась, в частности, в радикализации критики позитивизма, начатой создателями понимающей социологии, а также, как мы увидим, в том, что они подняли многие вопросы, возникшие в результате наблюдения за изменениями современных капиталистических обществ.

⁸⁹ Например, Аксель Хоннет рассматривает как одного из представителей современной критической теории Мишеля Фуко, см.: *Honneth A. Kritik der Macht. Reflexionsstufen einer kritischen Gesellschaftstheorie. Frankfurt am Main, 1985. Teil 4–6.*

⁹⁰ См.: *Agger B. The Discourse of Domination. From Frankfurt School to Postmodernism. Evanston, IL, 1992. P. 14–39.*

⁹¹ *Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М.: Весь мир, 2003. С. 128.*

Понятие критики

Чтобы понять характер критической теории, нужно прежде всего разобраться, что именно на языке ее создателей означало слово «критика». Хотя сами они не высказывались на эту тему абсолютно однозначно, несложно заметить, что смысл, который они чаще всего ему придавали, вовсе не сводился к обыденному значению, в котором критика – это просто противоположность апологетики, то есть отрицание – в большей или меньшей степени – существующего положения вещей и/или способа мышления о нем. Хотя занятия критической теорией заключались также и в понимаемой таким образом критике, и в тотальном сомнении почти во всем, они ни в коем случае ею не ограничивались. Создатели критической теории были также заинтересованы в развитии критики в том глубоком философском смысле, в котором Маркс занимался «критикой политической экономии».

Как пишет Станислав Черняк, рассматривая взгляды Хоркхаймера, «„критика“ не тождественна каждому случайному акту обыденного критического сознания. Она является атрибутом теории, для которой все, а значит, и обыденное критическое сознание становится объектом критики <...> Роль критики не исчерпывается артикуляцией „критической позиции“ субъекта, это не понятийная регистрация субъективных идиосинкразий или собрание критических „характеристик“. Будучи теорией, она имеет познавательный *par excellence* характер. Критика – это определенный метод... познания социальной действительности»⁹². Как представляется, при этом актуализировалось несколько значений слова «критика».

Во-первых, характерной чертой критики действительно была определенно негативная оценка *статус-кво* и почти навязчивое доказывание его рассогласованности с наиболее значимыми человеческими потребностями, которые, однако, большинство членов общества не осознает, оставаясь во власти ложного сознания. Такая критика требовала, с одной стороны, выявить «нечеловеческий» характер существующих условий, что было относительно просто, с другой же – рассеять позволяющие примириться с ними иллюзии, источником которых считались как эти условия, так и господствующие идеологические представления о них, внушаемые членам общества с раннего детства. Само собой разумеется, что *sine qua non* условие⁹³ такой критики – не только осознание зла, но и способность представлять себе мир, который был бы от него свободен, то есть способность создавать *утопию*. Хотя это не значит, что создатели критической теории, за исключением Фромма, располагали каким-то конкретным проектом идеального общества. Наверняка известно только, что оно должно было быть совершенно иным, чем существующее в данный момент общество.

Главной задачей критической теории не были, таким образом, ни одно лишь описание и объяснение мира со всеми его темными сторонами, ни тем более одна лишь негативная его оценка: речь шла о коренном изменении теоретического сознания, понимаемом при этом как начало больших социальных перемен, направление которых выражалось постоянно в лозунге эмансипации. Стоит между прочим заметить, что – в отличие от большинства марксистских концепций – первостепенной проблемой была здесь не материальная нищета, а депривации другого рода, ведущие к тотальному отчуждению современного человека.

Во-вторых, критика в понимании представителей критической теории должна была, как представляется, заключаться в преодолении ограничений обыденного мышления и традиционной теории в двух отношениях, упор на которые уже ранее сделал Лукач. Речь шла, во-первых,

⁹² Czerniak S. Pomiedzy socjologią wiedzy a teologią negatywną. Filozofia Maxa Horkheimera. Wrocław, 1990. S. 44; См.: Wellmer A. Critical Theory of Society. New York, 1971; Geuss R. The Idea of a Critical Theory. Habermas and the Frankfurt School. Cambridge; New York, 1981. Ch. 3; Morrow R. A. (with Brown D. D.). Critical Theory and Metodology. London, 1994. Introduction.

⁹³ Непременное (лат.). – Примеч. пер.

о восприятии социального мира как целого, об отказе от его представления как совокупности обособленных «фактов», а во-вторых, о стремлении к открытию «сути вещей», от которого неизбежно отказывается каждый, кто удовлетворяется наблюдением за явлениями и не спрашивает, что находится под их «поверхностью». Другими словами, мыслить критически – это мыслить глубже, чем это позволяют радикальный эмпиризм, а также здравый смысл, останавливающийся на том, что можно просто «увидеть».

В-третьих, критика в понимании рассматриваемых авторов отличалась также тем, что эта была по сути своей критика общества, так сказать, изнутри. Статус социальной действительности, с их точки зрения, совершенно иной, чем статус действительности природной, которая дана исследователю в объективизированной форме. Социальное знание неизбежно является знанием о самом себе, а значит, частью той же самой действительности, которой касается. Изменение знания – это одновременно и изменение его предмета, а не только увеличение степени адекватности познания этого предмета внешним по отношению к нему наблюдателем. Тем самым мерой правомочности социального знания является не столько возможность его эмпирического подтверждения присущим естествознанию способом, сколько влияние, которое оно оказывает на практику, меняя способ мышления и поведение участников социальных процессов. Если можно здесь вообще говорить о критерии истины, то им является только история, приближающая осуществление утопии человеческой эмансипации. Традиционные, так сказать, методы верификации научных утверждений здесь неприменимы. Критическая теория, впрочем, не претендовала на звание социальной науки в привычном значении этого слова, поскольку она подвергала сомнению обоснованность отделения сферы фактов от сферы ценностей, а также принятое в современной науке разделение труда.

В-четвертых, критика в критической теории имела тот особый смысл, что подчеркивала исключительную позицию этого направления как отрицания любых авторитетов, она также была попыткой создать социальное знание начиная с основ путем переопределения его целей, структуры и методов верификации утверждений. Теория, о которой идет речь, была по своей сути критической также потому, что вела постоянный диалог и спор с другими теориями, отказываясь признавать какую-либо из них окончательным ответом на наиболее важные вопросы. Это означало, естественно, сомнения в догматических толкованиях теории Маркса (а также Фрейда, к которому, как мы увидим, также обращались), однако прежде всего это означало тотальное отрицание позитивистской и научной традиции, в которой представители критической теории видели не только средоточие всевозможных теоретических ошибок, но также и, если не в основном, действующую в практике социальной жизни идеологию мира, критикуемого ими. Это отрицание отзовется в социальных науках очень громким эхом, что со временем принесет создателям критической теории славу, которой у них не было в годы существования Франкфуртской школы. Правда, эта неприязнь сторонников критической теории к признанным авторитетам распространялась, по сути, на все теоретическое наследие и даже на собственные достижения, что проявилось в последовательном уклонении от создания системы.

Предмет критики

Интересы критической теории были необыкновенно широки. Невозможно найти такую важную тему гуманитарных или социальных наук, которая не была бы в какой-то степени проработана кем-то из ее представителей. Это были люди исключительно всесторонне образованные и как бы не затронутые последствиями специализации, которая в их время охватила все области интеллектуальной деятельности. Они были мыслителями в старом стиле, а не философами, политологами, эстетиками или психологами в том смысле, какой эти определения приобрели или приобретали в XX веке. Впрочем, иначе и быть не могло, раз они занимались

ни больше ни меньше как «современным кризисом буржуазной цивилизации», а не какой-то одной категорией фактов, которую можно было бы изъять из этого целого.

В связи с этим выделение их *социологической* мысли возможно лишь ценой игнорирования оригинального контекста высказываний, в котором не существовало отчетливых границ ни между отдельными научными дисциплинами, ни между ними и философией или политикой. Хотя мы и располагаем некоторым корпусом текстов, адресованных социологам и относящихся непосредственно к социологии⁹⁴, они не имеют того основополагающего характера, необходимого для реконструкции социологических или метасоциологических взглядов авторов из круга критической теории, которым они обязаны своей большой популярностью.

Как представляется, эти взгляды касались в основном позитивизма, отказ от которого – о чем была уже речь выше – был лейтмотивом всего, что члены Франкфуртской школы говорили о социальной жизни и путях ее познания. Характерной чертой их критики позитивизма было то, что она была нацелена не только на теоретические или методологические ошибки, настойчиво будто бы совершаемые позитивистами (или учеными, которых они считали позитивистами, определяя позитивизм слишком широко), но и, даже прежде всего, на социальную функцию их мировоззрения, которая должна была якобы заключаться в признании всего существующего естественным и необходимым. Критическая теория пыталась доказать, что ограничение себя лишь фактами и исключение из науки любых ценностей означает неизбежное согласие со *status quo*, а также устойчивую неспособность изменить что-либо в лучшую сторону. Единственная деятельность, к какой способна привести позитивная наука, – это техническая деятельность, заключающаяся в манипулировании вещами (или людьми, которые рассматриваются как вещи). Любая мысль об эмансипации из этой науки исключается, а в соответствии с критической теорией именно она – самое важное в социальном знании. Таким образом, позитивизм является самосознанием овеществленного и примирившегося со своим овеществлением мира. Речь идет не столько о применении им неподходящего метода или недостаточности учитываемых эмпирических данных, сколько об особом социальном состоянии, генезис и функцию которого можно и следует сформулировать в классовых и исторических категориях. В этом отношении критические теоретики пошли по стопам Лукача с тем все же отличием, что из их мышления довольно быстро исчезло представление о потенциальном сознании пролетариата как условии истинного познания социальной действительности. Его место заняла критическая теория как таковая, которая хотя и выявляет классовую ограниченность господствующего способа мышления, но не указывает уже ни на какие социальные силы, способствующие ее преодолению.

Коротко говоря, спор критической теории с позитивистской философией социальной науки не был и не мог быть лишь спором о методе, хотя существенную роль в нем играли, конечно, методологические аргументы, которые со времен Дильтея использовались в Германии против позитивизма. Это было столкновение двух отличных друг от друга мировоззрений, двух разных видений социального мира и двух разных концепций знания. Ничего удивительного, что известный «*Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie*»^{95, 96} оказался в значительной степени диалогом глухих, а использованная в нем каждой из сторон аргументация была в основном понятна и убедительна только для самой этой стороны. Прежде всего согласие с точкой зрения критической теории требовало принятия множества положений, происходящих из такой философии общества и истории, в соответствии с которой мы имеем дело с тотально плохим миром, а первой обязанностью мыслителя является обличение этого зла.

⁹⁴ См., например: *Soziologische Exkurse* / М. Adorno, М. Horkheimer (Hg.). Frankfurt am Main, 1956 (англ. изд. – *Aspects of Sociology*. London, 1973).

⁹⁵ «Спор о позитивизме в немецкой социологии» (нем.). – *Примеч. ред.*

⁹⁶ См.: Adorno T. W. et al. *The Positivist Dispute in German Sociology*. London, 1976.

С этой позиции обсуждение большинства важных для «позитивистов» отдельных вопросов не только не имело смысла, но и могло восприниматься как усугубление ложного сознания, преодоление которого считалось призыванием критической теории.

Эту философию сначала излагали языком, приближенным к марксистскому, выдвигая на первый план последствия капитализма как системы, которая неизбежно порождает отчуждение и сводит отношения между людьми к отношениям подчинения и классового господства. Постепенно этот язык все же подвергся характерным изменениям, заключающимся прежде всего в том, что главным предметом критики стали также, и даже в первую очередь, те аспекты капиталистического общества, которых критика Маркса не затрагивала. Автор «Капитала» хотя и был радикальным критиком капитализма, но не современности как таковой. Он даже был склонен видеть историческую заслугу капитализма в том, что тот ускорил развитие производительных сил и спровоцировал то глубокое изменение сознания, которое позже Макс Вебер назовет «расколдовыванием мира». Маркс был в некотором смысле человеком Просвещения, глубоко уверовавшим в прогресс Разума и убежденным, что наука – это мощный союзник пролетариата в деле освобождения человека. Критическая теория со временем подвергла решительному сомнению эти элементы мышления Маркса, а также обнаружила, что просвещение, по сути, саморазрушительная сила, а ответственность за происходящее в мире зло лежит и на тех силах, которые еще недавно считались главными силами прогресса: на науке и технике. Критика капиталистического способа производства превращалась, стало быть, в критику разума, который сделал возможным его развитие и делает возможным его существование.

Эта критика разума не означала, однако, похвалы иррационализму, поскольку, в соответствии с интенцией критикующих, она была направлена не на разум как таковой, и особенно не на разум, понимаемый по-гегелевски, а на ту особую разновидность разума, которая была названа Хоркхаймером *инструментальным разумом* и признана, по сути, фактором иррационализации мира. С этой точки зрения можно было, например, сказать, что «фашистский режим является разумом, в котором разум проявляет свою иррациональность»⁹⁷. Коротко говоря, речь шла прежде всего о социальных и нравственных последствиях такого обращения к разуму, которое на первый план выдвигает вопрос технической эффективности и истинным считает исключительно экспериментально проверенное знание, которое может иметь техническое применение, – словом, узко понимаемое научное знание, которое «позитивисты» несправедливо считали единственным правомочным знанием. По мнению критической теории, одной из главных или главной причиной нынешнего порабощения человека является именно всевластие знания этого типа, господствующего в отсутствие Разума в собственном смысле слова. Это под его влиянием из культуры западных обществ был вытеснен идеал жизни, достойный человека, произошло это из-за стремления накапливать блага и развивать производство любой ценой. Инструментальный разум – первоначально ограниченный сферой техники – захватил все сферы жизни, в том числе межчеловеческие отношения. Человек стал для другого человека только лишь инструментом достижения материальных целей – объектом манипуляций и эксплуатации.

Любопытно, что это обвинение против современной цивилизации было одновременно направлено против и тоталитаризма, и либерализма. По мнению Франкфуртской школы, «поворот от либерального государства к тотально-авторитарному происходит, – как подчеркивал Маркузе, – в рамках того же самого социального порядка»⁹⁸.

Под властью инструментального разума процесс рационализации отождествлялся с процессом овеществления – так же, как это было у Лукача, который, однако, вслед за Марксом

⁹⁷ Цит. Макса Хоркхаймера по: Jay M. The Dialectical Imagination. A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923–1950. Boston, 1973. P. 121.

⁹⁸ Marcuse H. Negations. Essays in Critical Theory. Boston, 1968. P. 19.

видел в динамике капиталистического способа производства обещание лучшего будущего. В критической теории слышны прежде всего жалобы на этот ужасный мир, где все против человека и неоткуда ждать спасения.

Такой диагноз современного общества способствовал ранее уже упомянутому смещению интересов критической теории с «базиса» на «надстройку», тем более что ее представители все лучше осознавали, что изменение «базиса», к которому ведет коммунистическая революция, с точки зрения идеала человеческой эмансипации вовсе не означает радикального изменения состояния общества. Хотя главным объектом их атак неизменно были «буржуазные» общества, они были в большинстве своем свободны от каких бы то ни было иллюзий, связанных с «реальным социализмом». Более того, осмысление его «неудач» помогало им, как представляется, выявить слабые места доктрины, которая первоначально была для них источником вдохновения. Это означало, среди прочего, интенсивное продолжение деструкции марксистского «экономизма», начатой Лукачем, Коршем и Грамши. Основные вопросы критической теории затрагивали во все большей степени внеэкономические – психологические, политические и культурные – механизмы порабощения.

Открытие психоанализа

Особенно заслуживает внимания с этой точки зрения поворот в сторону психологии, которую «истинные» марксисты, занятые прежде всего макросоциальными историческими процессами, по сути, настойчиво игнорировали. Во Франкфуртской школе она сразу заняла главное место. Уже в первом номере «*Zeitschrift für Sozialforschung*» Хоркхаймер утверждал: «Пока теория не определит, каким образом структурные изменения в экономической жизни модифицируются посредством психической конституции разных социальных групп в данный момент времени в изменения их жизненной экспрессии как целого, теория зависимости надстройки от базиса будет содержать догматический элемент, который серьезно ограничивает ее ценность как гипотезы, используемой для объяснения современности»⁹⁹. Со временем стало понятно, что речь идет не только о коррективах марксистской схемы объяснения социальных явлений, которая была необходима, среди прочего, по той причине, что иначе нельзя было объяснить, например, противоречащего марксистским прогнозам поведения немецкого рабочего класса, а также дать удовлетворительный ответ на общий вопрос, почему члены общества так легко смиряются со своим положением, которое не соответствует их настоящим интересам и потребностям. Как говорил Маркузе в одном из интервью, тех, кто наблюдал за происходящими в социальном сознании изменениями, должно было шокировать, «до какой степени господствующая структура власти способна манипулировать, управлять и контролировать не только само сознание, но и подсознание, и бессознательное индивида»¹⁰⁰.

Во Франкфуртской школе психология оказалась нужна также в качестве основы философской антропологии, конкретизирующей постулат эмансипации, который был бы действительно пустым, если бы не множество утверждений, касающихся природы человека, его неотъемлемых потребностей и призвания. Здесь стоит подчеркнуть, что провозглашаемый рассматриваемыми мыслителями гуманизм имел индивидуалистическое обличье, а зло современного общества заключалось, по их мнению, среди прочего в том, что «оставляют индивиду очень мало свободы для действий и проявления истинной индивидуальности»¹⁰¹. Таким образом, нужно было также объяснить источники конформизма и обезличивания.

⁹⁹ Цит. по: Slater P. Origin and Significance of the Frankfurt School. A Marxist Perspective. London, 1977. P. XIII–XIV.

¹⁰⁰ Magee B. Men of Ideas. Some Creators of Contemporary Philosophy. Oxford; New York, 1974. P. 47.

¹⁰¹ Адорно Т. и др. Исследование авторитарной личности. М.: Академия исследований культуры, 2001. С. 268.

Отсюда устойчивый интерес к психоанализу Фрейда, интерпретируемому, впрочем, разными способами, один из которых был характерен, как представляется, для Маркузе как автора «*Eros and Civilization. A Philosophical Inquiry into Freud*»¹⁰² (1955), а также большинства членов Франкфуртской школы, а другой – для Фромма, который хотя и сыграл значительную роль, продвигая психоанализ в ее кругу, но не может считаться мыслителем, полностью для нее репрезентативным. Правда, в обоих случаях главной темой был человек как существо, стремящееся по природе своей к свободе и радостному творчеству, но лишенное (и лишавшее себя) шансов на самореализацию. Хотя эти идеи можно, в конечном итоге, вывести из «Экономическо-философских рукописей» 1844 г. Маркса, к которым, например, Фромм охотно обращался, их развитие во Франкфуртской школе было связано с Фрейдом. В их основе лежал взгляд, что «всякая форма общества обладает не только собственной экономической и политической, но и своей специфической либидозной структурой»¹⁰³, которую может объяснить только психоанализ. Фромм, впрочем, занимался в Институте социальных исследований изучением, «в какой мере и каким образом душевный аппарат человека является причиной, определяющей формирование и развитие общества»¹⁰⁴. Это был, несомненно, вопрос, чуждый марксистской традиции, хотя ему здесь – особенно поначалу – сопутствовал вопрос о том, как социальная структура определяет «психическую систему человека».

Мы здесь не будем подробно рассматривать предпринятые во Франкфуртской школе попытки объединить марксизм с психоанализом¹⁰⁵, а также выяснять, было ли их результатом уменьшение зависимости критической теории от первого или скорее его обогащение открытиями второго. Достаточно сказать, что речь шла о важном и устойчивом мотиве, который не потерял своего значения, несмотря на то что Фромм ушел из Института социальных исследований уже в 1938 г. Правда, с его уходом позиция марксизма в этом союзе заметно ослабла: с этого момента члены Франкфуртской школы, как подчеркивает Хелд, «отстаивали все более ортодоксальную версию психоанализа и все менее ортодоксальную версию марксизма»¹⁰⁶. Богатое наследие автора «*Escape from Freedom*»¹⁰⁷ (1941) нельзя в связи с этим безоговорочно относить к достижениям Франкфуртской школы. В этой школе, впрочем, вообще было довольно много таких ее членов, которые или работали в Институте короткое время, или не работали в нем вовсе, хотя проявляли некоторое духовное родство и пользовались – в течение разного времени – его материальной поддержкой (Институт располагал приличными средствами, имевшими – парадоксальным образом – чисто «буржуазное» происхождение).

Каково было влияние обсуждаемого нами интереса к психологии на вектор изысканий Франкфуртской школы? Как представляется, он проявился прежде всего в основанных на исследованиях ментальности немецких рабочих огромных «*Studien über Autorität und Familie*»¹⁰⁸ (1936), а также в исследованиях генезиса фашизма, наиболее известным и высоко оцененным результатом которых была, кроме громкого «Бегства от свободы» Фромма, книга «*The Authoritarian Personality*»¹⁰⁹ (1950). Это, несомненно, очень интересные работы как потому, что показывают определенное направление рецепции психоанализа, так и потому, что свидетельствуют о приятии эмпирических исследований¹¹⁰, уместность которых могла бы

¹⁰² «Эрос и цивилизация. Философское исследование учения Фрейда» (англ.). – Примеч. пер.

¹⁰³ Fromm E. Politik und Psychoanalyse. Цит. по: Функ Р. Эрих Фромм: страницы документальной биографии // Фромм Э. Мужчина и женщина / Составитель С. Я. Левит. М.: АСТ, 1998. С. 62.

¹⁰⁴ Там же. С. 48.

¹⁰⁵ Отдельный раздел им посвящает Мартин Джей в: Jay M. The Dialectical Imagination. P. 86–112.

¹⁰⁶ Held D. Introduction to Critical Theory. Horkheimer to Habermas. Cambridge, 1980. P. 110.

¹⁰⁷ «Бегство от свободы» (англ.). – Примеч. пер.

¹⁰⁸ «Исследования об авторитете и семье» (нем.). – Примеч. пер.

¹⁰⁹ «Исследование авторитарной личности» (англ.). – Примеч. пер.

¹¹⁰ См.: Madge J. Origins of Scientific Sociology. London, 1963. В этой книге последней из перечисленных работ посвящен

казаться сомнительной в свете множества «антипозитивистских» высказываний представителей Франкфуртской школы, а также их прямых атак на эмпирическую социологию, в которых особенно преуспел Адорно.

Значение этих работ заключалось, как представляется, в демонстрации, во-первых, механизмов формирования относительно постоянного и устойчивого к изменениям *социального характера*; во-вторых, особой роли семьи как посредника между социальной структурой и личностью индивида; в-третьих, разрыва между заявлениями изучаемых индивидов и глубинными чертами их личности; в-четвертых, наконец, зависимости между порабощением и психическими чертами подвергающихся ему индивидов, которые не только подчиняются внешнему принуждению, но и удовлетворяют таким образом свои скрытые психологические потребности, сформировавшиеся под влиянием социализации в авторитарно организованной семье. Это, без сомнения, стало ценным вкладом как в область гипотез, объясняющих исторический феномен фашизма, так и – по крайней мере потенциально – в общую теорию общества марксистской или парамарксистской ориентации.

Структурные изменения капиталистической системы

Открытие и использование психоанализа, о которых шла речь выше, однако, не означали полного отказа членов Франкфуртской школы от исследований, более близких к традиционным интересам марксизма, или же исследований, которые не имели крепкой опоры ни в марксизме, ни в психоанализе. Мы имеем в виду, с одной стороны, изучение эволюции капиталистической системы, которым, например, занимался Фридрих Поллок, а с другой – исследования массовой культуры, которыми занимались прежде всего Адорно и Лёвенталь, пользуясь, однако, сильной поддержкой почти всех важнейших представителей Франкфуртской школы, не раз выражавших прямо-таки аристократическую враждебность по отношению к современной им «культуриндустрии»¹¹¹. Эта школа верно, как представляется, указала на множество новых экономических, политических и культурных явлений, хотя поразительно односторонне подчинила свои наблюдения общему диагнозу западных обществ как царства отчуждения и духовного регресса.

Из упомянутых исследований Поллока следовал, в частности, вывод, что капитализм, описанный классической политической экономией, вслед за которой шел Маркс, подвергался в XX веке довольно серьезной метаморфозе, становясь во все большей степени государственным, то есть управляемым, капитализмом. Во времена Кейнса, провозгласившего «конец *laissez-faire*»¹¹², чисто экономическое содержание этого вывода не произвело, правда, никакой сенсации, но он имел немалое значение с точки зрения предпринятой во Франкфуртской школе модернизации марксизма, поскольку означал очередное сомнение в убеждении о второстепенности «надстройки» по отношению к экономическому «базису». Впрочем, ему сопутствовало предположение, что истинность тезиса о примате экономики исторически ограничена, а экономия должна непременно быть *политической*, поскольку экономические отношения являются все более отношениями *власти*. Однако, что еще важнее, из этих исследований следовал также вывод, что в будущем, которое возможно предвидеть, капитализм будет сам справляться со своими трудностями, в которых ортодоксальные марксисты привыкли видеть предвестие его скорого краха.

отдельный раздел (см.: Part 11. The Human Roots of Fascism. P. 377–423), автор называет ее «одним из ключевых эмпирических трудов социальных наук» (Ibid. P. 377). Относительно вклада Франкфуртской школы в эмпирические исследования см. особенно: *Schad S. P. Empirical Social Research in Weimar Germany*. Paris: The Hague, 1972. P. 76–96.

¹¹¹ См.: Хоркхаймер М., Адорно Т. В. Диалектика просвещения. Философские фрагменты / Пер. с нем. В. Кузнецова. М.; СПб.: Медиум; Ювента, 1997. С. 149–209.

¹¹² «Пусть все идет, как идет» (*фр.*); принцип невмешательства. – *Примеч. пер.*

Вообще характерно, что Франкфуртская школа занималась не столько слабыми местами капиталистической системы, сколько его дьявольской, по ее мнению, силой, которая проявляется, с одной стороны, во все лучшем удовлетворении материальных потребностей, а с другой – во все более эффективном лишении членов общества дееспособности. В этом контексте она поставила проблему *культуры*.

Проблематику критической теории культуры мы здесь не будем подробно рассматривать, поскольку речь идет об огромном разнообразии материала, к которому относятся среди прочего труды по социологии литературы, многочисленные критико- и историко-литературные работы и работы по эстетике, а также, например, музыковедческие исследования Адорно. Отдельной темой является, без сомнения, выдающееся творчество Вальтера Бенямина¹¹³. Нам здесь придется ограничиться теми лишь фрагментами проблематики, которые находятся в непосредственной связи с вопросами, обсуждаемыми до сих пор, то есть прежде всего с вопросом радикальной критики современного общества.

Особенно стоит обратить внимание на вышеупомянутую критику массовой культуры, составляющую, по сути, прямое продолжение более ранних анализов явления порабощения и отчуждения. Критика эта представляется необыкновенно важной для верного понимания критической теории как интеллектуальной формации, обращенной, как мы уже упоминали, как против тоталитаризма, так и против либерализма. Сложным для понимания парадоксом является тот факт, что эти эмигрировавшие из Германии мыслители находили в демократической Америке механизмы дегуманизации, аналогичные в известной степени тем, с которыми они имели дело на родине. Это можно понять, если только не забывать о преследующем сторонников критической теории призраке сверхобщественного инструментального разума.

С точки зрения их историософии можно было действительно предположить, что, как напишет Маркузе, «„тоталитарное“ здесь означает не только террористическое политическое координирование общества, но также нетеррористическое экономико-техническое координирование, осуществляемое за счет манипуляции потребностями с помощью имущественных прав»¹¹⁴. Падение фашизма было, таким образом, для франкфуртцев не настоящим освобождением, не осуществлением их эмансипаторских утопий, а завершением определенной фазы в развитии того же самого ужасного «общества без оппозиции», в котором никак невозможно быть человеком полностью, то есть свободным, мыслящим, творческим и т. д. существом. Хотя в Америке нет политического террора, люди там все равно бессильны, потеряны, ими манипулируют, их порабащают, они не анализируют происходящее и, что еще хуже, в большинстве своем довольны своей судьбой и не сознают собственных возможностей.

Этот диагноз американского общества был полнее всего описан в работе «One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society»¹¹⁵ (1964) Герберта Маркузе. Хотя этот автор во многих отношениях отличался от своих коллег, не подлежит сомнению, что его взгляды не были единичным случаем. Подобные рассуждения можно найти и у других авторов, а особенно в книге Хоркхаймера и Адорно «Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente»¹¹⁶ (1947), где в написанном в конце войны предисловии ставится показательный вопрос: «...почему человечество, вместо того чтобы прийти к истинно человеческому состоянию, погружается в пучину нового типа варварства»¹¹⁷, источником которого оказывается в первую очередь американская «культуриндустрия». Похожие, хотя и менее

¹¹³ См.: Benjamin W. Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty / red. H. Orłowski, tłum. K. Krzemieniowa et al. Poznań, 1996; Różanowski R. Pasaże Waltera Benjamina. Studium myśli. Wrocław, 1997.

¹¹⁴ Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества. М.: REFL-book, 1994. С. 4.

¹¹⁵ «Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества» (англ.). – Примеч. пер.

¹¹⁶ «Диалектика Просвещения. Философские фрагменты» (нем.). – Примеч. пер.

¹¹⁷ Хоркхаймер М., Адорно Т. В. Диалектика просвещения. С. 8.

эффектно сформулированные идеи мы также найдем в «Literature, Popular Culture, and Society»¹¹⁸ (1961) Лёвентала. Раньше всего появились, пожалуй, статьи Адорно о популярной музыке, из которых следовало, что она является школой бездумности и конформизма¹¹⁹.

В этих категориях во Франкфуртской школе описывалась вся массовая культура, противопоставляемая во всех своих проявлениях «аутентичной» высокой культуре, которая в какой-то степени может проложить путь эмансипации, выражая истинные мысли и чувства. Массовая культура (или «культуриндустрия», как чаще говорят, чтобы избежать невольного намека на то, что через определяемую таким образом культуру высказываются массы) основана на постоянном повторении одних и тех же схем с целью максимальной стандартизации переживаний реципиентов и уподобления их друг другу. Из этого, конечно, следовало, что средства распространения этой культуры служат не развитию сознания, а его подавлению и удержанию в рамках господствующей идеологии. Здесь нет места никакой истине, воображению и спонтанности, новизне, необычности и неожиданности. Искусство, которое когда-то было оплотом истины, красоты и независимости, становится обыкновеннейшим товаром, а также инструментом обмана и конформизации, «способом сковать сознание», фундаментом овеществленного общества.

* * *

Месту Франкфуртской школы в истории социологической мысли невозможно дать однозначную оценку, поскольку, как несложно заметить, интересные взгляды и новаторские в некоторых случаях изыскания смешиваются в ней с совершенно сумасшедшими идеями и часто приправлены невыносимым преувеличением. Она внесла некоторое оживление в социальную мысль, хотя это и произошло с опозданием, так как поначалу ее работы были мало известны или известны скорее фрагментарно. Некоторую известность на раннем этапе получили лишь критика массовой культуры и исследования авторитарной личности, а также бестселлеры Фромма, написанные, однако, уже после его ухода из Института социальных исследований. Настоящий праздник критической теории начался только в шестидесятых годах вместе с изменением общей интеллектуальной атмосферы, дискуссиями на тему кризиса социологии, а также неожиданной карьерой Маркузе как пророка контркультуры.

Рецепция критической теории среди социологов сталкивалась, однако, со сложностями, которые невозможно объяснить одним лишь «духом времени». Язык, которым пользовались ее создатели, был для этой среды малопонятен. Во-первых, это был язык *par excellence* философский, к тому же родом в основном из философских течений, которые в Америке в годы деятельности Франкфуртской школы были почти неизвестны; во-вторых, это был язык, важнейшие термины которого редко удавалось операционализировать, как этого ожидали в большинстве своем социологи доминирующих тогда направлений; в-третьих, это был, особенно поначалу, язык с явно марксистским синтаксисом, к которому американцы еще не привыкли. Не следует при этом забывать и о том, что члены Франкфуртской школы довольно долго публиковали свои работы по-немецки, что значительно ограничивало круг их читателей, поскольку их – такие многочисленные на сегодняшний день – переводы и изложения появились не сразу. Более того, не будем скрывать, что чтение некоторых авторов из этого круга (например, Адорно) требует большой самоотверженности, на которое способен лишь тот читатель, который уже убежден, что будет иметь дело действительно с великим мыслителем, что в этом случае определенно спорно. Коротко говоря, Франкфуртской школе пришлось довольно долго ждать признания, но и позже в социологии это признание было ограничено средой, неприязненно настроенной

¹¹⁸ «Литература, популярная культура и общество» (англ.). – Примеч. пер.

¹¹⁹ См.: *Srinati D. Wprowadzenie do kultury popularnej* / Tłum. W. J. Burszta. Poznań, 1998. Rozdz. 2.

по отношению к «официальной» науке и ищущей наставника на пути к чему-то другому. Хотя существование критической социологии на сегодняшний день уже факт, нельзя утверждать, что своим возникновением она обязана исключительно или в основном Франкфуртской школе.

Для историка она представляет интерес по другой причине. Франкфуртская школа приняла первую серьезную попытку выступить в роли продолжателя Маркса без оглядки на требования той или иной ортодоксии, не заботясь о том, чтобы его теория сохранила характер оружия массового революционного движения. Можно сказать, что это был эксперимент, заключающийся в проверке, что останется от марксизма после того, как с него снимут партийные ограничения и по-настоящему признают правоту мыслителей, убежденных в жизнеспособности капитализма. Каковы бы ни были достижения Франкфуртской школы, результат этого эксперимента оказался негативным: от марксизма осталось очень немного, хотя, без сомнения, эксперимент поспособствовал укреплению интереса к проблематике Маркса в социальной мысли.

6. Социология Мангейма

Карл Мангейм (Karl Mannheim) (1893–1947) был в годы своей венгерской молодости близко связан с Лукачем, и его взгляды формировались в той же самой интеллектуальной атмосфере под влиянием похожих, в основном немецких, трудов. Он точно так же учился некоторое время в Берлинском университете, где участвовал в семинаре Зиммеля. Он так же испытал на себе влияние марксизма, однако, обсуждая его в этом разделе, мы делаем это вовсе не потому, что его можно назвать марксистом, так как он не был им даже в той ограниченной степени, в какой марксистами были создатели критической теории. Он заслуживает внимания скорее как критик марксизма, но такой, который, как Макс Вебер, занимался его «позитивной» критикой, используя его как источник вдохновения. При этом, несомненно, Мангейм был выдающимся социологом, поэтому если нас интересует встреча этой дисциплины с марксизмом, мы ни в коем случае не можем обойти его вниманием. Это поучительный случай, поскольку он показывает, с одной стороны, устойчивую привлекательность некоторых марксовых вопросов, а с другой – причины несогласия затрагивающих эти вопросы социологов с ответами Маркса.

Интеллектуальная биография

Хотя Мангейм родился, воспитывался и начал научную деятельность в Будапеште, его судьба как ученого была связана в основном с Германией, куда он эмигрировал после провала венгерской революции, и Англией, в которую ему пришлось бежать от нацистов. В Германии он получил докторскую степень и хабилитацию (основанием для хабилитации стала работа «*Das konservative Denken. Soziologische Beiträge zum Werden des politisch-historischen Denkens in Deutschland*»¹²⁰ (1927). В 1929 г. Мангейм стал профессором кафедры социологии и экономики во Франкфуртском университете. Там он опубликовал свою знаменитую «*Ideologie und Utopie*»¹²¹ (1929), которая вызвала необыкновенно живую дискуссию и обеспечила ему статус классика дисциплины, известной как социология знания.

В немецкий период жизни Мангейма его основной проблемой, сформулированной в процессе «структурного анализа гносеологии» и критики философского идеализма, была социальная обусловленность мышления. В английский период он обратился к теории демократии и теме социального планирования, издав в том числе книгу «*Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus*»¹²² (1935; английское издание, исправленное и дополненное, «*Man and Society in the Age of Reconstruction. Studies in Modern Social Structure*», 1940) и «*Diagnosis of Our Time*»¹²³ (1943). Значительная часть работ Мангейма, опубликованных на страницах малоизвестных журналов или же вовсе не публиковавшихся, вышла в форме книг только после его смерти. Это были среди прочего лекции, прочитанные им в Лондонской школе экономики, где он работал в течение десяти лет. В британской социологической среде он сыграл довольно значительную роль, в том числе как инициатор существующей много лет издательской серии «Международная библиотека по социологии и социальной реконструкции». Однако он не создал школы и, по сути, не имел прямых продолжателей, хотя многие авторы считают его одним из важнейших социологов XX века.

¹²⁰ «Консервативная мысль. Социологические очерки о становлении политико-исторического мышления в Германии» (нем.). – Примеч. пер.

¹²¹ «Идеология и утопия» (нем.). – Примеч. пер.

¹²² «Человек и общество в эпоху преобразования» (нем.) – Примеч. пер.

¹²³ «Диагноз нашего времени» (англ.). – Примеч. пер.

Научная программа Мангейма была необыкновенно смелой и во многих отношениях оригинальной, однако она расходилась с главным течением социологии этого столетия, сохраняя очень тесную связь с философией и отрицая возможность превращения социологии в чисто эмпирическую дисциплину.

Мангейм не был слишком систематическим ученым. Он не дал упорядоченного и окончательного толкования своих концепций, нередко останавливаясь на этапе формулирования идей и оставляя их не полностью разработанными и не согласованными друг с другом. Впрочем, он сознавал собственные «противоречия и непоследовательность» и даже видел в них имеющий право на существование метод, который позволял обнаружить пробелы в теоретической мысли. Он признавался, что придерживается «эссеистско-экспериментальной установки». Она позволяла ему затрагивать очень много тем и создавать очень смелые синтезы. Будучи убежден в том, что социологические системы XIX века являются анахронизмом, Мангейм, однако, не отказался от стремления показать общество как целое и выявить направление его изменений. Он также не желал удовлетворяться ролью наблюдателя и свидетеля и пытался найти способ влияния социологии на социальную жизнь. Впрочем, он полагал, что в наступающей эпохе роль социальных наук в «социальной реконструкции» будет возрастать. Однако это должна была быть роль эксперта, а не вождя или идеолога, и при этом *par excellence* конструктивная.

Главные темы социологии Мангейма

Несмотря на некоторую рассеянность интересов, а также на перемены как среды, так и проблематики, в социологической мысли Мангейма были свои устойчивые основные темы.

Первой из них была тема *кризиса культуры*, который сформировался в современной Европе. По мнению Мангейма, потрясения и революции XX века являются симптомами не переходного волнения, после которого все может вернуться к норме, а «радикальных структурных изменений» во всех сферах жизни. У истоков кризиса культуры лежит социальная дезинтеграция. Мангейм, однако, не считал, что эту новую ситуацию можно описать в категориях заката капитализма и рождения социалистической общественной формации, как полагали марксисты. Он был также далек от крайнего пессимизма Франкфуртской школы. Мангейм полагал, что необходимо учитывать видоизменение существующего строя, заключающееся в том, что место «индивидуалистического, нерегулируемого, граничащего с анархией общества» занимает постепенно «социальный порядок более органического типа»¹²⁴, то есть, иначе говоря, происходит переход от свободно-конкурентного капитализма к регулируемому.

Этот переход не осуществляется, однако, самостоятельно, а требует осмысленной и организованной деятельности в соответствии с разумным и единым планом, без которого неизбежный провал политики невмешательства может закончиться катастрофой, угрожающей основным ценностям европейской культуры. В каком-то смысле Мангейм пользовался, таким образом, социалистической схемой обязательного рождения нового общества, но этим обществом был для него неизвестный до сих пор тип «буржуазной» демократии, а не социализм, перечеркивающий все ее достижения. Эта реформированная демократия должна была преградить путь как фашизму, так и коммунизму.

С этим диагнозом исторической ситуации у Мангейма была тесно связана идея *научной политики*, являющаяся второй важной темой его творчества. Он считал, что призвание социальных наук выходит далеко за пределы университетов. У истоков этого взгляда лежало, с одной стороны, убеждение в органической связи теоретического мышления с практической жизнью, с другой же – убеждение в мощи разума, который способен справиться с любым вызовом и взять верх над силами хаоса. Прямо-таки просветительский рационализм был здесь,

¹²⁴ Мангейм К. Идеология и утопия // Мангейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 34.

однако, сопряжен с осознанием огромной силы иррациональных факторов, которые разуму следует обуздать.

Третьей важной темой мысли Мангейма была его концепция *социального знания* (со временем отождествленная с очень широко понимаемой социологией) как точного знания, но совершенно иного характера, чем естественные науки. В этом отношении автор «Идеологии и утопии» обратился напрямую к Макс Веберу, стараясь выделить особенности гуманитарных наук, вместе с тем доказывая, что отличие от наук о природе по крайней мере не обрекает их на произвольность и отказ от научной строгости. Он пытался сформировать «интегрированную» позицию, сочетающую исследование общества как сферы «разделяемых смыслов» с исследованием его объективизированных структур, изучением которых занимался Маркс. Особой чертой этой социологии был программный холизм, в соответствии с которым «описание отдельного социального события или явления адекватно лишь тогда, когда они представлены как проявления жизни и функционирования общества как целого»¹²⁵. По этой причине Мангейм относился весьма критически к американской эмпирической социологии, которую упрекал в чрезмерном «аскетизме» и необоснованном пренебрежении «метафизикой»¹²⁶. С этой точки зрения он, без сомнения, напоминал мыслителей Франкфуртской школы.

Постоянной темой Мангейма можно считать, и это в-четвертых, его стремление (замечное уже в ранних гносеологических исследованиях, но доминирующее в социологии знания и социологии культуры) по-новому объяснить *природу мышления*. У истоков этого стремления лежала дильтеевская «наука о мировоззрениях», ликвидирующая картезианский миф чистого разума, который должен быть независим как от внерациональных способностей человека, так и от исторического контекста мышления. По мнению Мангейма, «философы слишком долго занимались своим собственным мышлением», они не придавали значения тому, как «оно действительно функционирует в качестве орудия коллективного действия в общественной жизни и в политике»¹²⁷. В своих исследованиях автор «Консервативной мысли» старался преодолеть как «номинализм», сводящий развитие мысли к изолированным актам мышления отдельных индивидов, так и «реализм», рассматривающий его развитие как абсолютно независимое от исторического времени и социального пространства. Он хотел показать, что любое мышление «экзистенциально обусловлено» и имеет характер *par excellence* социальный.

Пятой устойчивой темой мысли Мангейма, которая в контексте этого раздела представляется особо интересной, является его непрекращающийся спор или же диалог с *марксизмом*, живо напоминающий «позитивную критику исторического материализма», предпринятую Максом Вебером. Не вызывает сомнения, что автор «Идеологии и утопии» был обязан Марксу немалой частью своих вопросов. В частности, несложно обнаружить, что отправной точкой социологии знания была концепция идеологии, сформулированная Марксом и Энгельсом в «Немецкой идеологии» (см. Т. I. С. 282–283). Интерес к их вопросам не означал, однако, принятия их ответов, поскольку последние казались Мангейму слишком простыми и необъективными, так как призваны были, по его мнению, скорее изобличить противников, чем способствовать научному анализу социальной обусловленности идей. Особенно Мангейм был не согласен со взглядом, что ключевое значение всегда имеют классовые деления и конфликты, не говоря уже о том, что его явно раздражала марксова «материалистическая метафизика». Он пытался противопоставить марксистской концепции собственную, более, как он считал, соответствующую фактам и способную объяснить различия во взглядах, которые, очевидно, возникают не на классовой почве, а, например, из-за разницы поколений. Мангейм также подверг сомнению марксов (равно как и лукачевский) взгляд, утверждавший привилегированную

¹²⁵ См.: Mannheim K. Essays on Sociology and Social Psychology. London, 1953. P. 188.

¹²⁶ Ibid. P. 185–194.

¹²⁷ Мангейм К. Идеология и утопия. С. 7.

в познавательном отношении позицию пролетариата. Правда, в свою социологию знания он ввел не менее противоречивую концепцию интеллигенции, которая по причине своего вне- или даже надклассового положения способна объективно воспринимать социальный мир. Здесь мы, без сомнения, имеем дело с переработкой идей Маркса, однако такой, которая исключает рассмотрение Мангейма как марксиста, даже самого неортодоксального. Это, среди прочего, кроме отношения к социологии и более взвешенного диагноза современного общества, отличало этого автора от Франкфуртской школы, в отношении которой его творчество было в определенной степени параллельно как по причине обращения к Марксу, так и потому, что оно тоже объясняло то, что изменилось с его времени.

Заключительные замечания

В этом разделе мы пытались прежде всего выяснить, была ли, и если да, то в какой степени, созданная Марксом теория общества развита и дополнена в XX веке, а также стала ли она, и если да, то в какой степени, интегральной частью социологии, от которой в своей классической форме была, по сути, совершенно независима, несмотря на разнообразные связи в области затрагиваемых проблем, объединявшие ее с первыми социологическими системами. На оба вопроса следует ответить отрицательно. На первый потому, что, хотя в истории марксизма происходило многое, его научный статус не только не подвергся никаким принципиальным изменениям, но даже ухудшился по отношению к своей отправной точке. На второй же вопрос мы даем отрицательный ответ, поскольку, как мы видели, марксисты в большинстве своем не особенно интересовались состоянием «буржуазной» социологии, они даже были склонны в целом подвергать сомнению ее значимость. Если даже их критика социологии не была чисто политической и имела сущностное значение, в этой дисциплине она, по сути, не нашла отклика, так как имела внешний характер и не выдвигала никаких предложений по ее реформированию. Как таковая, она могла повлечь за собой разве что косвенные последствия, и то лишь если тот или иной социолог считал ее в какой-то степени верной и делал из нее какие-то практические выводы. Однако это происходило нечасто.

Хотя число социологов, считающих себя марксистами, и марксистов, называющих себя социологами, возрастало, марксизм все же не стал влиятельной научной школой. Он мог служить источником вдохновения в тех или иных вопросах, но не был направлением первостепенного значения. Это произошло по многим причинам. Одной из них был, очевидно, характер научного проекта Маркса как проекта интегральной социальной науки, которая сохраняет свою связь с философией и стремится изменить мир, начиная с основ. Другой и, может быть, более важной причиной была историческая судьба этого проекта, которая привела к тому, что научный потенциал теории Маркса был растрочен его продолжателями, которые, как правило, были более заинтересованы в немедленных политических или пропагандистских эффектах, чем в исследовании природы социальных явлений.

Раздел 15

Социальный прагматизм

Антинатуралистическая революция, о которой мы говорили в предыдущих разделах, обошла стороной американскую социологию. Труды Макса Вебера – методолога и социолога (в отличие от Вебера – историка экономики, которого заметили за океаном гораздо раньше) – стали известны в США спустя примерно четверть века после смерти своего создателя. Хотя идеи Зиммеля проникли туда намного раньше, их трактовали односторонне, не замечая их философского аспекта. Роберт Эзра Парк – американский ученик Виндельбанда и Зиммеля и вместе с тем (наряду с Томасом) создатель американской эмпирической социологии (Чикагская школа, которой мы займемся в следующем разделе) – был, по сути, продолжателем скорее Конта и Спенсера, чем немецкой гуманитарной науки. *Introduction to the Science of Sociology*¹²⁸ (1921), написанный им совместно с Бёрджессом влиятельный учебник социологии, не оставляет в этом отношении никаких сомнений, так же как и созданная им концепция социальной экологии. Мы говорим о Парке, поскольку на протяжении почти всего межвоенного периода направление, начало которому он положил, представляло в США социологическую «нормальную науку».

Подобное происходило и в британской социологии, которой, однако, мы сейчас заниматься не будем, так как в первой половине XX века она развивалась (в отличие от британской социальной антропологии) очень слабо и имела безнадежно эпигонский характер. Американская же социология с начала века стремительно расширяет сферы своего влияния, что в результате надолго обеспечит ей ведущую позицию в мире и приведет к тому, что социологию назовут «американской наукой».

Конечно, эта экспансия американской социологии была в значительной степени обусловлена факторами, не имеющими отношения к ее содержанию: в США социология впервые в своей истории получила солидную институциональную базу (прежде всего в виде организованного Альбионом Смоллом в 1892 г. факультета социологии и антропологии в недавно основанном Чикагском университете) и материальные средства на исследования, о которых не могли мечтать социологи в странах более бедных и, что еще важнее, слишком консервативных, чтобы инвестировать в новую – и из-за своей новизны подозрительную – науку.

Бурное развитие американской социологии было бы, однако, невообразимо, если бы организационным успехам не сопутствовала интеллектуальная революция, ведущая к освобождению из-под влияния «измов» XIX века и решимости совершить нечто большее, чем адаптация европейских доктрин¹²⁹, к чему в значительной степени сводилось творчество пионеров социологии на американской почве. Такие ученые, как Уильям Грэм Самнер (*William Graham Sumner*) (1840–1910) или Альбион Вудбери Смолл (*Albion Woodbury Small*) (1854–1926), способствовали популяризации новой науки и ее адаптации к локальной традиции с сильным оттенком индивидуализма и волюнтаризма, но не они создали американскую социологию. В своих наиболее оригинальных чертах она, наряду с так называемой «новой историей» и «новой психологией», являла собой результат той интеллектуальной революции, какой был в американской жизни прагматизм.

Некоторые черты этой философии, роднящие ее с позитивизмом, мешают европейскому наблюдателю увидеть глубину и масштабы этой революции. По сравнению с тем, какую

¹²⁸ «Введение в науку социологии» (англ.). – Примеч. пер.

¹²⁹ На эту тему см. особенно: *Commager H. S. The American Mind. An Interpretation of American Thought and Character Since the 1880's.* New Haven, Conn., 1950.

роль в европейской мысли сыграли неогегельянство, неокантианство, бергсонизм, а также другие направления «антипозитивистского перелома», спор прагматистов с позитивизмом XIX века может показаться лишенной особого значения домашней ссорой. Но если мы все же примем во внимание все последствия этого спора, то окажется, что его ни в коем случае нельзя обойти вниманием, хотя прагматисты действительно сохранили многое из позитивистского наследия. С точки зрения проблематики этой книги особенно важен связанный с прагматической философией переворот в психологии и намного более медленный процесс формирования особого социологического направления, известного сегодня как *символический интеракционизм*, которое многие авторы считают наиболее оригинальным вкладом американцев в социальную теорию¹³⁰.

Вслед за его создателями мы будем пока что использовать определение «социальный прагматизм». По причинам, которые должны стать понятны далее, это определение нередко применяли как синоним термина «социальный бихевиоризм». Определение «символический интеракционизм» было использовано спустя много лет Гербертом Блумером как название направления, являющегося продолжением изысканий, начатых социальными прагматистами: Джеймсом, Кули, Дьюи, Томасом и Мидом.

¹³⁰ См., например: *Parsons T. Cooley and the Problem of Internalization // Cooley and Sociological Analysis / Ed. by Jr. A. J. Reiss. Ann Arbor, 1968.*

1. Прагматизм и социальная мысль

Рассмотрение прагматизма как такового не является здесь нашей целью, поскольку о нем существует очень много историко-философских работ. Но обязательным представляется обсуждение главных направлений его влияния на социальные науки, особенно же на социологию, где связанная с именем *Уильяма Джеймса* (*William James*) (1842–1910) «...» идея открытого мира, в котором была натурализована неуверенность, выбор, гипотеза, новизна и возможность»¹³¹ нашла, пожалуй, самый сильный отклик. Принимая эту идею, прагматизм совершил тотальную деструкцию спенсеризма (неимоверно сильного в ранней американской социологии): он создал концепцию человека как действующего субъекта, а не только объекта, подчиняющегося законам природы и разве лишь наблюдающего за независимыми от него процессами. Вместе с тем, однако, прагматизм обещал дать право на сохранение популяризированной спенсеризмом нормы научности, а также возможность экспериментальной науки. Он не был простым отрицанием доминирующей до сих пор социальной философии; прагматизм сохранял некоторые ее важные элементы, а среди них идею эволюции. Эту двойственность прагматизма замечательно передают размышления Джеймса: «Вы ищете такой системы, которая сумела бы соединить в себе две вещи: с одной стороны, честное научное обращение с фактами и готовность считаться с ними – словом, дух приспособления, а с другой – старую веру в человеческие ценности и в вытекающую из них спонтанность, – безразлично, романтического или религиозного типа»¹³².

Граница между прагматизмом и спенсеризмом была в американской мысли границей эпох. «Взгляд Спенсера, – как пишет Хофстедтер, – прекрасно передавал период ожидания спасения от автоматического прогресса и *laissez-faire*; прагматизм был освоен национальной культурой тогда, когда люди начали думать о манипуляции и контроле. Спенсеризм был философией неизбежности, прагматизм стал философией возможности. Центром логической и исторической оппозиции прагматизма и спенсеровского эволюционизма был подход к отношениям между организмом и окружающей средой. Спенсер удовлетворился тем, что признал среду устойчивой нормой – позиция, свойственная тому, кто в принципе не имеет никаких жалоб на существующий порядок. Прагматизм, имеющий более позитивный взгляд на деятельность организма, видел в окружающей среде нечто, чем можно манипулировать. Господствующие взгляды подвергла сомнению именно прагматическая концепция отношения интеллекта к среде <...> Самым значительным вкладом прагматизма в развитие социальной мысли было пробуждение веры в эффективность идей и возможность новизны <...> В той же степени, в которой Спенсер выступал за детерминизм и контроль человека окружающей средой, прагматисты выступали за свободу и контроль среды человеком»¹³³.

Ключевое значение имела предложенная прагматистами концепция человека, которая не оставляла места ни представлению о нем как готовом творении природы (каким он был, например, в инстинктивистских концепциях), ни концепции *tabula rasa*¹³⁴, пассивно испытывающей влияние природной или социальной среды. Человек становится тем, чем он есть, в процессе интеракции с окружающей средой, частью которой, конечно, являются другие активные организмы. Познание мира – часть этого процесса. Познающий субъект, как писал Джеймс, – это «...» не подвижное зеркало, лишенное какой-либо опоры и пассивно отражающее традицион-

¹³¹ Цит. по: *Hofstadter R. Social Darwinism in American Thought* (1st ed., 1944). Boston, 1972. P. 123.

¹³² Джеймс У. Прагматизм. Новое название для некоторых старых методов мышления. Популярные лекции по философии. Пер. с англ. П. Юшкевича. СПб.: Шиповник, 1910. С. 19.

¹³³ *Hofstadter. Social Darwinism*. P. 123–124, 125.

¹³⁴ Чистая доска (лат.). – Примеч. пер.

ный или просто существующий порядок. Познающий субъект – это, с одной стороны, актор, являющийся сотворцом истины, с другой же – некто, кто регистрирует истину, к созданию которой причастен. Интересы, гипотезы, постулаты – поскольку являются основой человеческой деятельности, в значительной степени меняющей мир, – помогают *делать* истину, которую провозглашают. Иначе говоря, интеллекту с момента рождения полагается спонтанность и право голоса. Это орган, а не только зритель; его суждения о том, что должно быть, его идеалы не могут быть содраны с тела *cogitandum*¹³⁵ так, как если бы были наростами или, как принято считать, пережитком»¹³⁶.

Прагматизм был, особенно в версии Джеймса, индивидуалистической философией, но такое общее определение может иметь какой-либо смысл, лишь пока нас интересует черновое разделение концепций на «индивидуалистические» и «коллективистские», «номиналистические» и «реалистические». Как аналитическая категория оно малопригодно. Прагматизм был индивидуализмом в том смысле, что его представители отрицали возможность понимания общества иначе, чем в качестве совокупности влияющих друг на друга индивидов. Однако, за исключением этого взаимовлияния, индивид был для них абстракцией, метафизической фикцией, против которой они выступали в своей критике Спенсера, Уорда и Кидда. «Общество, – писал Джон Дьюи, – есть такой процесс ассоциирования, при котором опыт, идеи, эмоции, ценности передаются и становятся общими. И индивидуума, и институциональные формы организации поистине можно считать подчиненными этому активному процессу. Индивид подчинен ему потому, что только в общении и посредством передачи опыта от других и другим он может не быть бессловесным, просто воспринимающим, примитивным животным. Только в ассоциации с себе подобными он становится сознательным субъектом опыта. Организация, как она в целом подразумевалась в традиционной теории под понятиями общества или государства, также подчинена этому процессу, поскольку она становится статичной, жесткой и застывшей в институтах во всех тех случаях, когда не служит облегчению и обогащению контактов между человеческими созданиями»¹³⁷.

Конечно, можно сказать, что такой постановке вопроса Дьюи способствовали достижения американской социологии и социальной психологии, на которые этот философ оказывал влияние, испытывая одновременно и их воздействие. Тем не менее, даже в версии Джеймса прагматизм создавал предпосылки для такого способа мышления, а происходило это потому, что, как мы уже сказали, он отвергал концепцию человека как чего-то данного, готового, как существа, ищущего в обществе средств осуществления врожденных прав, удовлетворения потребностей и инстинктов. Именно процесс социальной интеракции делает его участников людьми, меняя и ограничивая действие биологических инстинктов. Если в центре внимания для прагматистов остается индивид, то он в силу самого определения *социален*.

Наконец, значимой с точки зрения влияния на социальную мысль чертой прагматизма был его программный антидуализм, отменяющий традиционную оппозицию между душой и телом, сознанием и бытием, мышлением и действием, организмом и средой, индивидом и обществом¹³⁸. В центре внимания оказалось понятие *процесса*, на что повлияли как дарвиновская, так и гегелевская традиции, особенно сильная в начальной фазе формирования взглядов Дьюи.

¹³⁵ Процесс мышления (лат.). – Примеч. пер.

¹³⁶ James W. Collected Essays and Reviews. New York, 1920. P. 67.

¹³⁷ Дьюи Д. Реконструкция в социологии. Проблемы человека / Пер. с англ., послесл. и примеч. Е. Павловой. М.: Республика, 2003. С. 129.

¹³⁸ См.: White M. Science and Sentiment in America. New York, 1972. P. VIII–XI.

2. Психология Джеймса

Исследователи сходятся во мнении, что зачатки основной проблематики социального прагматизма (а также современного символического интеракционизма) следует искать в *The Principles of Psychology*¹³⁹ (1890, 2 т.) Уильяма Джеймса, хотя он сам интересовался вопросами социальной теории в очень небольшой степени. Если вообще можно говорить о *социальной* психологии создателя прагматизма (слово «социология» не имело бы здесь совершенно никакого смысла), то только как о «...» побочном продукте его рассуждений на тему таких связанных с этой областью проблем, как „привычка“, „инстинкт“, „поток сознания“ и особенно „социальная самость“»¹⁴⁰. Более того, соответствующие высказывания Джеймса могут быть интерпретированы по-разному и не составляют никакого систематического целого. Будучи проницательным критиком и великим вдохновителем, автор «Принципов психологии» ни в коем случае не был создателем упорядоченной теории. Социолог мог найти в его труде разве что отдельные идеи. Как писал Кули, *социальный* или *социологический* прагматизм был лишь на пороге своего возникновения¹⁴¹.

Роль Джеймса как инициатора оригинального направления социологической мысли заключалась в том, что в центре его внимания оказался человеческий индивид, участвующий в процессе социальной интеракции. Благодаря ему часть социологов (не будем здесь затрагивать вопрос его влияния на становление социальной психологии) осознала, что «индивид» – используя удачную формулировку Дьюи – это «...» всеобъемлющий термин для колоссального разнообразия отдельных реакций, привычек, склонностей и потенций человеческой природы, которые рождаются и крепнут под влиянием совместной жизни¹⁴², а не название молекулы, находящейся в таких же отношениях с другими молекулами, как физические тела с другими телами. Джеймс обнаружил или как минимум создал условия для обнаружения того, что исследование социальных процессов должно быть одновременно исследованием процесса становления человеческого индивида, который только в процессе этой интеракции приобретает свои основные свойства. В этом, впрочем, заключалась новизна джеймсовского индивидуализма, поскольку старые индивидуалистические концепции, как правило, рассматривали как условие и отправную точку интеракции данные черты человеческого индивида, а общество скорее удовлетворяло уже существующие потребности, чем создавало их. Кроме того, Джеймс разработал категории, которые оказались ключевыми для изучения этого процесса, прежде всего понятие социальной самости (*social self*)¹⁴³.

Из перечисленных Карпфом проблем наименее важной была в психологии Джеймса проблема инстинктов, значение которой он умахал, считая, например, что «...» человек отличается от низших животных почти полным отсутствием инстинктов»¹⁴⁴ или же что у человека инстинкты исчезают по мере формирования привычек¹⁴⁵. И именно *привычка* занимает в психологии Джеймса центральное место. Хотя это понятие у него и не полностью ясно, но основная интенция не вызывает сомнений: речь идет о переориентации психологии на исследования усвоенного поведения, то есть детерминированного скорее социально, чем биологически. Невзирая на значение, придаваемое «врожденным склонностям», главной проблемой

¹³⁹ «Принципы психологии» (англ.). – Примеч. пер.

¹⁴⁰ Karpf F. B. American Social Psychology. Its Origins, Development, and European Background. New York, 1932. P. 251.

¹⁴¹ См.: Jandy E. C. Charles Horton Cooley. His Life and His Social Theory (1st ed., 1942). New York, 1969. P. 110.

¹⁴² Дьюи Д. Реконструкция. С. 125.

¹⁴³ На тему понятия самости см.: Koczanowicz L. Jednostka – działanie – społeczeństwo. Koncepcje jaźni w filozofii amerykańskiego pragmatyzmu. Warszawa, 1994.

¹⁴⁴ Джеймс У. Психология / Под ред. Л. А. Петровской. М.: Педагогика, 1991. С. 293.

¹⁴⁵ Там же. С. 300.

для Джеймса было формирование человеческого поведения в ходе жизни среди других людей. Это имело важные социологические последствия (не будем говорить о том, сознавал ли он их сам), поскольку влекло за собой признание, что социальная жизнь отлична от жизни, управляемой биологическими инстинктами или «привычками», к которым есть «врожденная склонность». Усвоенная «привычка, – писал Джеймс, – это маховое колесо общества»¹⁴⁶.

Конечно, подчеркивание роли привычки должно было быть направлено не только против преувеличения роли биологических инстинктов, но и против философов, редуцирующих поведение человека до сознательных и разумных актов. Человек остается у Джеймса дарвиновским организмом, хотя и является организмом особого типа или даже особым организмом, живущим в особой среде.

Взгляды Джеймса на роль привычек не имели бы, однако, особого значения, если бы не были связаны с новой – активистской – концепцией человека, о которой мы уже ранее упоминали. Иначе говоря, они не были просто очередным признанием старого тезиса о примате среды по отношению к наследственности. Если мы рассматриваем их таким образом, то необходимо добавить, что в этой концепции человек является интегральной частью среды, а сама среда – это не нечто просто данное и находящееся вне человеческого контроля, она постоянно меняется, и главная движущая сила этих изменений – человеческая активность. Меняя среду, человек меняется сам; меняя себя, он меняет свою среду.

Социологические аспекты психологии Джеймса отчетливее всего проявились в его анализе социальной самости (*social self*) – анализе, важным условием которого был отказ от понятия какого-либо субстанционального сознания и замена его понятием непрерывного процесса возникновения индивидуального самосознания в ходе интеракции с другими людьми. В процессе познания мира человек выступает в равной степени как познающий субъект («субъективное я», *I*) и как познаваемый объект («эмпирическое я», *me*). Это «эмпирическое я» включает в себя все, что индивид называет «своим» и что может быть для него источником определенного рода эмоций (*self-feeling*), а также побуждать к определенному рода действиям (*self-seeking* и *self-preservation*) – стало быть, «не только его физические и душевные качества, но также его платье, дом, жена, дети, предки и друзья, его репутация и труды, его имение, лошади, его яхта и капиталы»¹⁴⁷. В ходе дальнейших рассуждений Джеймс выделяет «материальную самость» (тело, одежда, дом, семья, принадлежащие индивиду вещи, особенно приобретенные благодаря собственному труду), «социальную самость» и «духовную самость».

С нашей точки зрения, особенно важна социальная самость, поскольку, описывая ее, Джеймс проводит глубокий анализ процесса возникновения ощущения индивидуальной идентичности, происходящего, когда человек представляет себе, как его оценивают другие, а также каковы по отношению к нему ожидания людей, мнение которых для него важно. Так как индивид участвует обычно во множестве различных групп, появляется проблема множества социальных самостей, каждая из которых до определенной степени иная: разным людям человек показывает разные стороны самого себя, играя как бы разные роли. В результате, как пишет Козер, «...» Джеймс заложил основы социальной психологии как Кули, так и Мида, а также «...» более поздней «...» теории ролей»¹⁴⁸.

¹⁴⁶ Там же. С. 49.

¹⁴⁷ Джеймс У. Психология. С. 81.

¹⁴⁸ Козер Л. А. Мастера социологической мысли. Идеи в историческом и социальном контексте / Под ред. И. Б. Орловой; пер. с англ. Т. И. Шумилиной. М.: Норма, 2006. С. 222.

3. Дьюи как создатель социального прагматизма

Решающую роль в процессе возникновения социального прагматизма сыграл все же, как представляется, *Джон Дьюи*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.